

БИБЛИОТЕКА ПУТЕШЕСТВИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ



★ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И ПУТЕШЕСТВИЙ

А. Домнин
МАТУШКА-
РУСЬ

Выпуск 44



ПЕРМСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1975



**БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И ПУТЕШЕСТВИЙ**



А. Домнин
МАТУШКА-
РУСЬ

**исторические
повести**

P2
Д66

© Пермское книжное издательство. 1975

Д $\frac{0732-26}{M152(03)-75}$ — 46 — 75

*Памяти отца
Михаила Константиновича
Домнина посвящаю*

• **МАТУШКА-
РУСЬ**
СКАЗАНИЕ



ПРОЛОГ

Отец мой не любил, когда в доме затевалась уборка и мать посягала на беспорядок в его «мурле». Так называл он уголок в кухне, заваленный книгами, бумагами и лекарствами. В переделанном из буфета шкафчике книги были натолканы так, что стоило большого труда разыскать здесь нужный том.

— И куда он мог запропасться? — удивлялся отец, но не решался нарушить привычный хаос.

Над столом была прибита коробка из-под лапши, в нее складывались случайно услышанные редкие пословицы и прибаутки, наскоро записанные карандашом на газетных клочках или листочках календаря. Отец сам с трудом разбирал свои каракули и поэтому не спешил «приводить их в систему».

На плитке день и ночь пытел чайник. Отец отхлебывал из чашки до невозможности крепкий и горячий чай и шумно, словно с громадным облегчением, вздыхал после каждого глотка.

Худой, даже летом редко снимающий телогрейку и валенки, сидит он в «мурле», поглаживает лысую голову и произносит свое непонятное и многозначительное «м-да». Редкие, торчащие брови то удивленно взлетают, то хмуро опускаются. Серые с голубинкой глаза, всегда чуть влажные и широко открытые, затуманены какой-то думою.

Таким я помню отца.

К нему прилепились семьдесят пять болезней, и, по прогнозам врачей, они давно должны были его осилить, но не могли сломить его энергии. Он жил, он отчаянно сопротивлялся. Разработал свою методику лечения, среди его лекарств была даже смесь горчицы с медом, которую проглатывал он с превеликим отвращением.

Как-то ночью стоял отец у окна и долго смотрел на огоньки, мигающие за прудом на взгорье.

— Не могу я уйти от огоньков этих...

...Любил отец поговорить. Не просто поболтать о том, о сем, а высказать мысли, которыми постоянно занят мозг.

Жаль, друзья мои, студенты, летом разъезжались на каникулы. Вот благодарные собеседники! Слушают жадно, а чуть что, вспыхивают, как порох. Частенько, обычно ночами, на кухне разгорались жесточайшие словесные сражения.

Когда нет студентов, отец рад любому собеседнику: заглянет случайно участковый милиционер, он усадит его, угостит чайком, и только часа через два тот спохватится:

— Извините, я же на работе, я к вам вечером забегу...

Иногда жертвой становилась мать.

— Присядь на минутку, — попросит он ее, — мне надо проверить свои суждения. — И добавит раздраженно: — Только оставь, пожалуйста, свои миски-плошки.

— Подожди, картошки начищу.

— Не хочешь — не надо, — сердится отец.

Мать покорно откладывает картошку, вытирает фартуком руки и садится напротив.

Отец прикрывает рукою глаза. Он уже в другом времени, в двенадцатом веке, в древней Руси. Перед ним возникают древние города над высокими речными обрывами, орды кочевников в дикой степи, жестокие битвы.

Не был отец ни литератором, ни историком и по профессии своей вроде был далек от древности.

Правда, в юности он писал стихи, учился в Пензенской «художке» у Савицкого и Горюшкина-Сорокопудова, даже в театре пытался играть. Мечты и планы спутала германская война. Начались солдатские скитания, галицийский фронт. Знать, уважаемым был он солдатом, если после Февральской революции выбрала его фронтовая братва помощником командира четвертого Финляндского полка. Потом — гражданская война, бои с белополяками. После госпиталя вернулся в Пензу, поступил на завод счетоводом, а вскоре ему сказали: «Му-

жик ты башковитый, поручаем тебе финансовый отдел — руководи».

Засел за книги, с головою влез в производство, наладил дело.

«Молодец, вот тебе плановый отдел, руководи...»

И уже как знающего специалиста пригласили его на Урал, в Мотовилиху.

Завод и промышленное хозяйство были смыслом и делом жизни отца, но жил в нем еще и художник, и, наверное, потому увлекся он однажды древним и загадочным памятником нашей литературы — «Словом о полку Игореве», завалил «мурло» летописями и учеными фолиантами и каждый свободный час отдавал «Слову».

В войну мы голодали. От брата-матроса не было с фронта писем. Отец приходил с работы поздно, пошатываясь от слабости и усталости. И все равно при свете копилки хотя бы полчаса листал книги о русской древности.

Есть мгновения высшего взлета эпохи — они поучительны и прекрасны.

Таким взлетом среди дикости, братоубийственных войн и раздоров XII века было и «Слово о полку Игореве».

Сначала отец хотел сделать свой поэтический перевод «Слова», но приступил к нему не сразу, а после «душевной подготовки» — он переписывал и изучал Пушкина, чтобы постичь душу гения. А сделав потом перевод «Слова», счел свой труд весьма легкомысленным, отложил его в «папку непонятных бумаг» и заново принялся перечитывать груды летописей и книг. И был вечно недоволен тем, чего достиг.

Мысль отца не знала покоя. Он мог пройти мимо родного дома, думая о своем; как-то раз в трамвае вместо билета попросил у кондуктора «мечи харалужные». А рассказывать о далеких временах мог так, словно только что сам вернулся из Древней Руси.

...Мать слушает отца внимательно, не перебивая. Но вдруг, взглянув в окно, всполошится:

— Миша, погоди-ка, куры в огород залезли.

— Какие куры? — не понимает отец.

Исчезла Русь, он снова в своем «мурле». Он не сердится, нет: у матери свои заботы.

— М-да, — произносит он со вздохом. — Иди, выгоняй своих кур...

Однажды долгие годы труда принесли ему минуты счастья, ради которых стоило так прожить жизнь.

Он разбудил меня среди ночи. Неодетый, в наброшенной на плечи телогрейке, суетился и бегал по кухне:

— Ты только послушай, что мне приснилось! Это же открытие! И как никто раньше об этом не подумал!

Отец оторвал клочок газеты для самокрутки, потянулся к махорке, но на плитке запыхтел чайник. Он машинально снял его и, как в чашку, стал лить из него на газету. Лил и не мог понять, что делает, пока не ожгло руку.

Сейчас, когда пишутся эти строки, я отчетливо вижу его сияющие глаза, дрожащие от волнения пальцы. Дымящийся чай льется на промокший клочок газеты, на валенок, а отец словно не замечает этого...

*Дам очам далеко зрети,
Дам ушам далеко слышати.*

Старинная песня.

НЕВЕСТА

Немало путей исхожено, немало дум передумано.

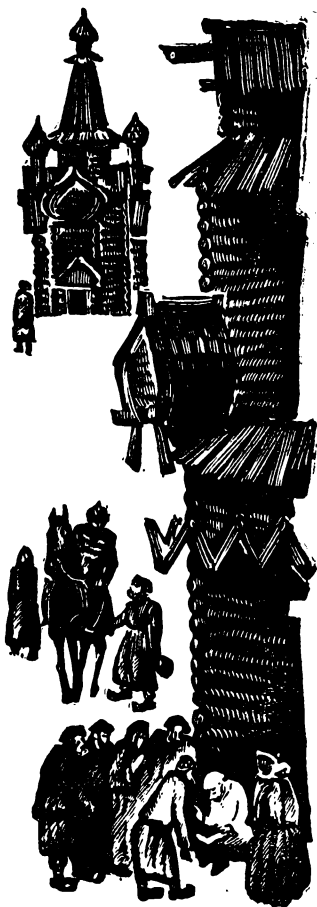
Была ли она, эта встреча, не приснилась ли?

В конце весны, когда отцвела черемуха, затянуло небо тяжелой хмарью, глухо проворчал в отдалении гром, и закружила вдруг сырая снежная метель. Белым лохматым зверем металась она в молодой листве, густо укрывала хлопьями траву.

Не видать дороги за снежными вихрями.

Долго ли, мало ли ехал Святослав, продрогший, облепленный снегом, но метель вдруг утихла, и в просветах дымящихся туч засветилось розовое, подрумяненное закатом небо.

Было морозно и тихо. Перед княжичем открылась зим-



няя поляна, дуплистый дуб на ее краю, а близ него сутулая избенка, обращенная оконцем к лесу. Как вороненое серебро, светилась река, и над нею густо клубился туман — снизу седой, сверху алый.

Увидел Святослав: вышла к реке девица в наброшенной на плечи полушубейке. Спрыгнул с коня, поспешил за нею.

Зачерпнула она из реки бадейкой и засмотрелась в темную воду. Не слышит, как окликнул ее княжич, смотрит в туман и поет тихонечко:

Лейтесь, слезы горячие,
По лицу по белому,
Смойте, слезы горячие,
Красу девичью.

Голова ее непокрыта, пушистые косы упали на грудь, и в них искрятся снежинки.

Как в лес ли пойду —
Мне дерев не найти,
Как на людях мне
Человека нет.
Посею я горе
Во чистом во поле,
Взойди, мое горе,
Черной чернобылью.

Хрустнул снег под ногою Святослава, обернулась девица, полыхнул по щекам румянец и растаял. Лицо худенькое, одни глаза, синие, как васильки, большие и дерзкие. Чуть припухлые губы сжаты зло и упрямо.

— Кто ты? — спросил княжич.

— Безмужняя жена, безотцова дочь.

Подхватила бадейку и пошла к избе.

— Постой! — спохватился Святослав. Не сказал он еще, что обсушиться бы ему надо, да и ночь близка, а девица уже ответила, приостановившись:

— Вон деревня недалечко, там примут.

Тяжело перехватила бадейку другой рукою, откинула за спину косы и пошла, ступая в старый след.

Княжич брел за нею, не зная, как ее удержать.

— Нельзя ко мне, — отмахнулась она на пороге с досадой и грустно добавила: — Порченная моя изба.

Скрипнула и захлопнулась дверь. Святослав постоял, стал стучать в расхлябанные доски. Зачем, чего хотел он — и сам не знал, просто не мог, коснувшись чужой беды, уйти от этой избенки, ничего не поняв и не пытаясь помочь.

В избе молчали. Он стал бить каблуком так, что за скрипели ржавые петли.

Стукнул засов, распахнулась дверь, девица шла на него с кочергою: глаза в прищуре остры, как шилья, губы в недоброй усмешке.

— Уходи! — властно показала она на взгорье в сторону деревни.

И он отступил, помянув черта.

Дохнула морозом и обняла землю тишиною серебристая ночь, растворились в белесом сумраке ближний лес и частокол на взгорье. Понуро брел за княжичем усталый конь.

В ближней избе, куда попросился Святослав, было жарко, пахло овчиной, сыростью и куриным пометом. Три лучины, зажатые в светец, горели, потрескивая, и по низкому потолку колебались тени.

Святослав обсушился. Хозяйка потчевала его сытой, кланялась и сетовала на скудное житье:

— Извела нас волхва. На скот мор напустила, у Опаленихи корова пала, у Заряды козел. А ныне вот снег на посевы наслала и стужу.

Святослав задремал было, но вдруг понял, что говорит хозяйка о той девице, и насторожился.

— Одна она у нас — веретница. Отец ейный тем же промылял, а как стал отходить, она воем выла, знать, потому, что не все колдовство он ей передал. Или вот под рождество — стучит ночью в оконце: заледенела вся, сарафан колом стоит, а косы как две сосульки. «Пустите, — просит, — в прорубь оступилась». У меня сердечко страхом захолонуло, сорвала икону со стены, мужик топор ухватил и выходим так: «Прочь, веретница — некрещена девица, чур меня, чур!» И крестным знаменем ее осенила. Вскрикнула она, руками от иконы заслонила и бежать... Думаешь, отчего она в реку зимой ходила? С *ним* встречалась, он в реке живет.

— Кто — он?

— *Он*, нечестивый... Ужо отольются ей наши слезоньки.

В избе собирались, перешептывались, грозили кому-то. Понял княжич, кому они грозят, в полночь должно свершиться что-то страшное и непоправимое.

Бабы сбились в круг, и хозяйка бормотала:

Во поле-полище
Черное дырище,
Во дырище деготь,
Медвежий коготь
И человечья смерть.
Чур меня, чур!

Был нелеп этот жуткий заговор рядом с молитвой, которую сразу они запели. Потом они вышли во двор, что-то вытаскивали из хлева.

Святослав, сказавшись, что спешит, вывел гнедого и поскакал вниз к реке. Привязал коня у леса, стал стучать к девице, но не дождавшись отзыва, затаился под дубом. В деревне слышались выкрики, лязг железа.

Лунные нити пронзали ветви, зажигая щепоти снега на листьях.

Холодно, тихо, жутко.

От деревни к реке сбегали белые тени.

У Святослава озноб прошел меж лопаток и перехватило дыхание: прямо к нему, почти бегом, двигались русалки в белых саванах, с распущенными волосами, босые. Они несли на плечах тяжелые ноши. Княжич подтянулся за нижний сук, влез на него и прижался к стволу. Русалки столпились под дубом, сбросили ноши, приплясывали, дули в пригоршни, отогревая пальцы.

— Шевелитесь, ноги жжет. Опалениха в соху встанет — она вдова, в борону кто-то из девиц.

Княжич узнал голос хозяйки. Это были деревенские бабы — в длинных исподних рубахах, босые. Высокая, тощая старуха, которую называли Опаленихой, надела хомут и впряглась в соху, полная грудастая молодлица — в борону. Шествие двинулось вокруг избенки. Опалениха, согнувшись и кряхтя, тянула соху, за нею шла хозяйка, присвистывая и дергая вожжи. Следом грудастая молодуха тянула борону, остальные бабы шли цепочкой за ними, приподняв одной рукой подолы, а другую словно бы брали из них пригоршни зерен и бросали вокруг.

— Шире захватывай! Не посмеет теперь она наш след переступить, тут ей и конец!

В лунном свете их лица казались зелеными, как у мертвецов.

Мы идем, мы ведем
Соху-борону, —

высоко запела хозяйка, и остальные подхватили:

Мы пашем, мы бороним,
Тебя, веретница, в круг заколотим.
Сеем мы не рожью землю
И не родим семена.

По чистому снегу прошел темный, окруживший избенку след, бороной и сохой были взрыты травы и земля. Круг должен был замкнуться у дуба, но вдруг откинулась дверь избенки, с криком выбежала девица и отшатнулась от пропаханной борозды. Бросилась она к дубу, и бабы, заголосив, побежали ей наперерез.

Княжич спрыгнул, девица налетела на него, и он схватил ее за руки.

— Оборотень, — истошно завопила Опалениха, и бабы с визгом помчались прочь, падая, путаясь в длинных рубахах. Обгоняя всех, высоко задрав подол, убегала хозяйка. Опалениха с хомутом на шее отстала, споткнулась, хомут спал, но она зачем-то напятила его снова.

Девица не вырывалась, смотрела вслед уползавшей на четвереньках Опаленихе и беззвучно смеялась. Глаза ее были темными и злыми.

— Ты и вправду волхва? — спросил княжич, и она вздрогнула:

— Я никому не сделала зла. — И без насмешки грустно и доверчиво глянула ему в глаза. — Был в наших лесах белый лось, совсем ручной и беззащитный, потому что всюду виден среди листвы. Он пришел в деревню к людям, спасаясь от волков. И его затравили. Просто так, без нужды, убили красоту.

— Не пойму никак, кто же ты?

— Невеста твоя. Ты будешь искать меня и не найдешь, будешь ждать и не дождешься, а я буду всегда с тобой.

Она притянула его голову и коснулась горячего лба холодными губами.

— А теперь иди и не ищи меня и никого обо мне не спрашивай. Иди, — простерла она руку к лесу.

И непонятная власть была в ее взгляде. Он уходил, чувствуя его спиною и не смея оглянуться...

Когда занялся рассвет и край неба вспыхнул золотым пламенем, княжич словно бы проснулся. Было зябко, на траве лежала седая роса, и ленивый ветерок-лесовей шелестел листвою. И как будто не было вчерашней стужи и снега, песчаная дорога влажна и мягка, и конь оставляет на ней четкий след.

До боли обидно стало Святославу, что уехал он ночью от загадочной той девицы, не расспросив ее, ничего не поняв толком. Он и теперь ясно слышал грудной ее голос: «невеста твоя», видел васильковые ее глаза и сияние луны в пушистых волосах.

Повернул он коня, поскакал обратно, но сколько ни колесил по дорогам, не мог найти ни той реки, ни деревеньки, ни девичьей избенки. У кого ни спрашивал — никто не знал, где она.

Словно не было той ночи, словно приснилась она.

Лейтесь, слезы горячие,
По лицу по белому,
Смойте, слезы горячие,
Красу девичью.

Быль иль небыль, сон иль явь?

КЛУБОК СВАРОГОВ

Выткал бог Сварог нити жизней людских и почил от трудов. И была жизнь человека пряма, как лунный свет, и долга, как ветра путь. Но пришел котенок, заигрался в тех нитях и скатал в клубок. Опечалился бог Сварог, отец земли и неба. Созвал он сорок сороков волхвов-ведунов и повелел тот клубок распутать по ниточке. Доныне гадают ведуны, как распутать его, и не могут до-

знать. Оттого и суетятся и мечутся люди, что жизни своей запутанной понять не могут, и оттого нет на Руси ни порядка, ни законов строгих и праведных, ни настоящей веры, ее украшающей.

Так сказывала Святославу бабка его.

Несмышленишем был тогда княжич, не мог понять странных бабкиных наговоров.

У бабки были влажные и горячие глаза половчанки и седая коса, по-русски уложенная венцом. Черный атласный плат она скалывала у подбородка золотой брошью, отчего лицо ее становилось полней и темнее.

Редко выходила бабка из своей светлицы. Гордая и дородная, сидела она в низком кресле с резными подлокотниками и смотрела, не видя, перед собой. О чем думала эта властная женщина? Иногда, просыпаясь ночью, княжич слышал, как она шаркает по скрипучим половицам и стучит тяжелым посохом.

Пятнадцать лет не снимала бабка траур по муже своем. Говорили, что в ту ночь, когда умер дед, князь черниговский, велела она закрыть ворота внутреннего города, чтоб не разнесли ту весть до других городов, а сама послала гонца за сыном Олегом, чтоб поспешал с дружиной на отцов престол. И, собрав бояр и духовных пастырей, взяла с них клятву, что не станут сноситься и сговариваться с другими князьями. Но епископ Антоний, иудину душу имея, сумел известить тайно дедова брата, и тот поспел раньше Олега.

Было сыро и зябко, висели над городом рыхлые тучи, глухо плыл над колокольнями зауспокойный звон. У княжьего крыльца под седлом и в богатой сбруе стоял любимый конь покойного, у гроба выли плакальщицы:

Распахнитеся да белы саваны,
Ой, разоидитесь да белы рученьки,
Ты восстань, восстань, князь наш батюшко.

Снаряжуся я да сирой птицею,
Омочу крыло во Дунай-реке,
Смою с век твоих смертну ржавчину,
Оботру лицо белым полотном...

Бесконечен и сиротлив был тот плач, разрывающий душу:

Научи-расскажи, как нам жить без тебя —
да без правого крыла...

А бабка, на башню ворот городских поднявшись, кричала дедову брату, что стоял перед запертыми воротами с непокрытой головой:

— Прилетел, ворон, на мертвечинку? Ужо дадим испить живой кровушки, а ну как захлебнешься! — Хохотала торжествующе и измывалась. — Ишь, закудахтал! Черный кочет гаркнуть хочет, горло широко, да кишка тонка!

А тот в бессильной ярости скрипел зубами и лишь об одном просил: пустить с братом проститься.

Похоронили деда. Престол его занял брат, а бабка с сыном Олегом перебрались в родовое гнездо, в Новгород-Северский.

Святослав боялся жгучих бабкиных глаз, и влекли они и пугали. При внуке глаза теплели, разглаживались морщины над переносьем. Усаживала она внука рядом с собою, гладила льняные его волосы.

Мудрость старых людей настоена на горечи и печали, как хмельная отравы, замутит она тебе разум, и нет сил ей противиться.

— Легче притвориться великим, чем быть им, — зло ворчала бабка на дедова брата, теперь уже ставшего великим киевским князем. — Ты старший сын в роде нашем и по рождению своему выше дядьев своих, сидящих на высоких престолах. Ты правнук Олега Гориславича, что с мечом восстал за обиду и право быть среди пер-

вых. В юных годах был он князем Тьмутаракани, и был при нем любимец его вещий певец Боян, прозванный соловьем.

И не спеша начинала сказывать Бояновы песни — от них вскипала и холодела кровь, уходил сон, и уносило Святослава воображение в давний прекрасный мир битв и подвигов.

Высота — высота поднебесная,
Глубота, глубота — океан-море,
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты днепровские...

Особо любил княжич одну из Бояновых песен. Сказывалось в ней, как схватили юного Олега хозары, спеленали ремнями и продали в рабство в греки. Увезен был Олег на дальний остров и три года томился вдали от родной земли. И добыл он волшебный клубок, размоталась ниточка, привела его на родину, и предал он огню и посек коварных хозар.

То ласкала бабка внука, то закипала гневом. Однажды, слушая какой-то жалостливый ее рассказ, расплакался он навзрыд. Оттолкнула его бабка, глаза, как ножи, сверкнули:

— Сердце твое из теста, как у отца! — И замахнулась посохом. Но вдруг привлекла княжича к себе, обхватила голову сухими ладонями.

— Ты разрубишь клубок Сварогов, ты будешь правителем всей земли русской! Хочешь?

Она дышала ему в лицо, и у нее тряслись щеки:

— Изгони жалость из сердца, напитай его хитростью. Измельчал наш род после пращура твоего Ярослава Мудрого. От сынов его, землю разделивших, смуты пошли. Ярослав Мудрый десять иноземных государей оплел родством и всю землю нашу в кулак зажал. Не мечом, не

удалью — хитростью и ясномыслием. Ненавистен он мне и люб за то. Князья наши недоумки, — застучала она посохом, — завистью обросли, в чужой мощне им и дыра гривной кажется. Власть — невеста завидная, мало кто ее достоин. Ты прочтешь все книги, которые знал прашур Ярослав, узнаешь все тайны, которыми он владел. Ты будешь воевать оружием врагов твоих, торговать их товарами.

И снарядили вскорости Святослава в Киев к монастырским книгознаям.

Отец сказал бабке:

— Если хочешь рыбу плавать учить — не бросай ее в кипяток. Он должен стать воином, а не монахом-святошей.

Бабка отмахнулась. На прощанье перекрестила внука троекратно и спрятала на его груди мягкую ладанку, в которую вшит был корень белой озерной лилии — одолень-травы. Произнес княжич заклинание, как учила бабка:

— Одолень-трава, одолей мне горы высокие, доли низкие, из синя-моря вынеси, из дремучего леса выведи. Спрячу я тебя, одолень-трава, в ретиво сердце во всем пути, во всей дороженьке.

С тем и отправился в путь.

Княжичу нравились дни в книжных клетях Печерского монастыря среди тех, кто творит летописные своды и знает иные языки и наречия.

Не срубить дом без бревен, не скопить ума без чтения книжного. Краса воину — оружие, кораблю — ветрина, мудрому — книги.

— Труден путь восхождений души человеческой к самой себе. Через ремесло свое познают человецы тайны жизни: пахарь — возделывая землю, кузнец — плавя медь и железо, а твое ремесло — понять истоки горя и радости людей и быть им защитником и судьей, — поучал боярин-

монах отец Феодор, наставник княжеских детей при монастыре.

У него было сухое маленькое лицо и доверчивые, как у ребенка, глаза. Волосы всегда всклоочены и спутаны, говорит он то громко, подняв со значением желтый палец, то взволнованно и быстро, понизив голос до шепота.

— Жил в древние поры греческий воитель Александр, прозванный Двурогим, полмира покорилося ему. Но пришел однажды в страну рахман-праведников, послушал смиренные их речи и сказал:

«Просите, что хотите, и дам вам».

«Дай нам бессмертие», — сказали они.

«Этим не владею, потому что сам смертен».

И сказали рахмане:

«Так почто же ты, смертный, столько ратовствуешь? Все равно, умерев, все другим оставишь».

Отвечал Александр:

«Не взволнуется море, если не дохнет ветер. Бесплоден человек, только о небесном помышляя. Если бы все один нрав имели, празден был бы весь мир: по морю бы не плавали, земли бы не возделывали, детей бы рождения не было».

Не все понимал княжич в речах боярина и монаха отца Феодора.

— А откуда Русь появилась? И правда ли, что пращуры наши — славяне — жили по звериным законам?

— В древних веках истоки Руси. У народа, как и у человека, есть детство. Там истоки будущей его судьбы, и негоже нам сторониться пращуров наших за то, что по-иному жили. Летописи начинают судьбу Руси с Рюрика и Владимира Крестителя, будто до них ничего не было. Чем длиннее история, тем меньше места в ней человеку, и потому считают некоторые, что легче начинать отсчет времени с себя, чтоб одному в ней место занять. Вот что

о прашурах наших в греческой древней книге писано: «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и потому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим». А вот как говорил византийский император Маврикий шесть веков тому назад: «Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим правам, по своей любви к свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране... У них большое количество скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы. Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, так что большинство их считает смерть своего мужа своею смертью и добровольно удушают себя, не считая пребывание во вдовстве за жизнь».

— Сами удушали себя?

— Не совсем так. Были среди других языческих обычаев и звериные, и не смели они их нарушить. По смерти мужа убивали жену и сжигали вместе с ним, ибо в стране предков они должны быть вместе. И пленников приносили в жертву Перуну серебряноусому, ибо считали, что в стране мертвых убитые пленники должны стать рабами. Так делал еще и Владимир Креститель. Но был ненавистен тот обычай, и с радостью обратились славяне к новой Христовой вере, запретившей убиение и жертвоприношение. И еще потому новая вера в единого бога пришла ко времени, что подступили к Руси враги-печенеги и надо было объединить разрозненные племена кривичей, полян, древлян и иные под одним стягом и в единой вере, свергнув родовых богов. О том и в народе сложена былина-сказание про Добрыню—дядьку Владимира. Дважды Добрыня свергал Перуна — в Киеве и потом в Новгороде. Новгородский идол Перун, сброшенный в Волхов, плыл под мостом и забросил на него свою палицу

для раздора, оттого теперь все драки новгородцев на этом мосту. И в народном сказе-бывальщине дважды борется Добрыня со змеем-язычеством и освобождает от змеиного пламени Забаву-женщину и царей-царевичей — пленников... Когда хочешь нынешний день понять, постигни судьбу земли и народа своего в глубь времен, падения его и полет, позор и славу...

Отозвал вскоре княжича отец, сказав, что время ему постигать воинские науки. Но сам он дома не засиживался, был в походах, воевал с дядьями и родичами и о тех сражениях рассказывал сыну с прибаутками: «Пришли Петры, принесли топоры, после каждого Петра — кругом дыра».

Александр Двурогий в пятнадцать лет покорил полмира.

Святослав в пятнадцать лет потерял все. Отец, достигнув войнами престола в Чернигове, умер, не успев сына наделить уделом. И остался княжич без дома, без малого владения.

По милости дядьки своего Игоря, что стал после отца править Новгород-Северским, получил Святослав маленькую крепостишку Рыльск на границе с половецкой степью: городок не велик, а спать не велит. И во всем он теперь от Игоря зависим. Нить судьбы его завязалась узлом.

ТАЙНЫ БЕЗЪЯЗЫКИХ МАСТЕРОВ

Зачудесил Самошка-кузнец. Прошел слух, что купил он бычка полугодовалого, привязал в своей кузне и поит его ночами расплавленным железом вместо воды. Слух полз из улицы в улицу, будоража любопытство, сея тре-

вогу. Как на снежный сырой ком, что катят по талому снегу, налипали на него новые присказки и небылицы. Уверяли, что у того телка глаза угольями горят, а из ноздрей пламя пышет.

Был Самошка знаменитым в городе человеком. И больше не за руки его золотые — такого умельца поискать на Руси — за жизнь потешную любили старика: уж коли что вычудит — на три года смеху. Однажды такое сотворил, что весь город привел в смятение и восторг.

Проведал он случаем, будто монах новгородский, смастерив воздушного змея, летал на нем в Иерусалим «между обедней и заутреней». И еще такое сказывал ему книжный человек: «Когда подступил вещий Олег ко Царьграду, склеил бумажных людей на конях и пустил по воздуху на град. Увидели греки небесное войско и бежали в страхе».

Затосковал Самошка. У орла есть крылья, чтобы парить в подоблачье, у человека — мечта. Разве заказано ему достигнуть полета орлиного, увидеть с вышины край земли и неба, куда солнце прячется и как зажигаются звезды?

И смастерил он из тонких рей, обтянутых легкой кожей, змея, похожего на огромную летучую мышь.

Был день ветреный и хмурый, когда сыновья вынесли змея к высокому берегу Сейма. При великом стечении народа подлез под него кузнец, укрепил в ремнях руки и, пробежав, прыгнул с обрыва. Подхватил его поток воздуха, и поплыл он над рекою в орлином парении. Только слышно было, как дребезжат крылья и как тоненько кричит сам кузнец не то от восторга, не то от страха. Несло его вдоль берега, уже еле виден стал. Но вдруг у дальней излучины подломилось крыло и рухнул змей вниз. Пока подоспел народ, кузнец чуть не захлебнулся, выпутываясь из ремней.

Тогда и прозвали его «дважды крещеным». Посмеивался кузнец над всем и над всеми, говорил иногда:

— Зачем унынием праздник жизни своей омрачать? Одна у меня жизнь и потому радуюсь я ей и берегу.

Ныне новая затея у Самошки. Как-то набрел на его кузню бродячий гуслир. Собою высок и костляв, белая лешачья борода с прозеленью растет будто бы из самого рта — губ не видать. Дугой согнулся, пролезая в низкую покосившуюся дверь, шагнул через порог, пошевелил лохматой бровью и стянул с головы шапку:

— Мир вам и честь, добрые люди.

Сыны Самошкины — разбойного вида в косую сажень детинушки — подкатили страннику корявый чурбан и отодвинулись молча в сторону. Сам кузнец занят был новой саблей, что отковал недавно; сталь для нее готовил он особо, добавляя в плавку и глины, и муки ржаной, и сажу, и еще всякой всячины.

Сказал гуслир, что есть у него дело до самого князя Святослава, и все выпрашивал, каков он и как о нем народ судит.

— Как судить приучены: князь всегда хорош, боярин поплосе, купец — обманщик, а простолюдин вроде бы и не человек. — Самошка вытер о фартук ладони и присел на тот же чурбан. — Сколько на моем веку князей менялось — всех и разглядеть не успел.

Самошкиной сабелькой, что кроваво полыхнула в отсветах печи, гуслир залюбовался: затейливо. А кузнец вздохнул:

— Восточному булату наше оружие не соперник. Их сабли легкую кисею на лету секут и железо рубят. Говорят, что те мастера все без языка, потому и секрет их проведать никто не может.

— О том не знаю, — отозвался гость, и лешачьи брови его прикрыли глаза. — Сказывают, крепок булат отто-

го, что пропитан людской кровью. Хвастал в Киеве восточный гость про тайну тамошних мастеров: будто бы нужно калить меч, пока он не вспыхнет, как солнце в пустыне, а потом вонзить его в тело жирного раба. И будет он цвета царского пурпура.

— Душегубы! — взвизгнул Самошка. — Живое тело раскаленным железом...

Ушел гусляр, заронив беспокойство в сердце кузнеца. Как ни ругался он, а о тайне булата не переставал думать. Увидел, проходя по торжищу, пестрого бычка и подумал: «Зачем нехристям человека подвергать мучительной смерти, взяли бы животину — еще куда ни шло...» И решил вдруг сам испробовать восточный секрет.

С утра у его кузни толпились любопытные: кто привел коня перековать, кто лемех для сохи заказать, а кто и просто так. И все на бычка косились: телок как телок, сено жует и пьет водицу. Только подойти к нему боязно: вдруг огнем полыхнет. Кричал на них Самошка, гонял батоном, но разве от чужого глаза укроешься? Может быть, и не кончилось бы для него добром это любопытство, если бы не встревожили Рыльск слухи о близкой войне с половцами. О Самошке забыли.

А кузнец, заперев кузню, не пропускал ни одного молебна во храме, был тих, смирен, одет и расчесан. Постились и его сыны.

— Без торжественности в душе не свершить великого, — негромко поучал их Самошка.

Как-то под утро, когда таяли звезды от дыхания студеной весенней зари, кузнец разбудил сынов: пора. Больше ни слова не было сказано.

Не выходили из кузни до вечера. Дважды жена Самошки приносила обед, но никто не притрагивался к еде. Грязные и горячие от работы и жара, налегали сыны на

меха, и не только уголья, но, казалось, и камни пода в гудящей печи раскалены добела. И лезвие кривой сабли на углях рдело, как полоска оранжевого солнца.

Выхватил ее Самошка кожаной рукавицей и выбежал на волю к бычку. Тот потянулся к нему и ласково замычал. Замахнулся кузнец, помедлил и со злостью вонзил раскаленное лезвие в бочку с дегтем. Облако чада вырвалось из бочки и растаяло. Телок фыркнул, брыкнул задними ногами и устоялся на кузнеца. Самошка в изнеможении опустил на траву. Не хватило мочи загубить животину. Нет, злодейством не достигнуть подвига.

— Живодеры безъязыкие, — изругался он на восточных мастеров.

А сыны тем временем выловили саблю из дегтя, как змею ядовитую, осторожно отнесли ее в лопухи. И лишь на другой день, когда обтерли ее и отмыли, удивился кузнец синеватому узорному отливу ее лезвия, а когда попробовал ударить ею по наковальне, лишь малый рубец остался на острие.

СОВЕТ

Воробьи опьянели от солнца и вешнего тепла, облепили крыши и деревья, раскричались, как бабы на торгу. Грачи и аисты ссорятся у старых гнезд, и плывут в бездонной небесной выси станицы журавлей-кликунов. Умылся городок первым чистым дождем, расцвел пестрыми женскими нарядами, ожил в весенних заботах и хлопотах.

Вечерами, при кострах, когда заглянут в омуты первые звезды, начинаются в роще над Сеймом хороводы и веселые игрища.

Теплеет земля, в избытке напоенная влагой, самая пора орала готовить для пахоты, бить пролетную птицу и чинить невода для рыбы.

Не о том помыслы князя, не весна пробудила в нем волнение и тревогу. Приказал он бить в большой колокол, разослал по городу вабичей — трубить в берестяные роги, сзывать народ ко княжьему двору — на совет, на вече.

Только что возвратился Святослав из Новгород-Северска, от дядьки своего Игоря.

Родовое гнездо Ольговичей, город его детства Новгород-Северск стоит на излучине Десны, на высоком ее берегу среди сосновых лесов. Над обрывом — обнесенный стеною княжеский терем-крепость: из его окон лодки и ладьи на реке кажутся крошечными.

На крыльце встретила Святослава Игорева супруга Ярославна, радостная и суетливая:

— Вырос-то как!

Проводила в терем. За столом уже сидели сам Игорь, юный его сын Владимир, брат Всеволод — Буй-тур и черниговский воевода Ольстин. Ярославна захлопотала с угощениями, торопливо расспрашивала Святослава о житье-бытье.

Не мог юный князь назвать то чувство робости и обожания, которое испытывал он к этой женщине. У нее была привычка сравнивать людей с птицами и зверушками. Игорь был журавлем, степенным и голенастым, Всеволод — простуженный грач, а он, Святослав, — молодой певчий дрозд с рябой грудкой. Себя называла она сиротливой зегзицею-чибисом, что тоскливо кричит над рекою. По-матерински баловала она Святослава, когда он гостил, советовала:

— Не лезь в княжьи свары, людская кровь — не водица.

Горьким было ее детство в Галиче, в высоком тереме отца — умного и могучего Ярослава Осмомысла. Мать ее жила с отцом во вражде и ненависти. Завел Осмомысл себе полюбовницу Настасью, и жизнь их была похожа на праздник. Мать Ярославны от лютой ненависти к сопернице теряла разум, плела заговоры, посылала отцу настоенное на сорочьем сердце вино, колола кинжалом след, где прошла Настасья. Потому женитьба Игоря на Ярославне, тогда еще совсем девочке, была как полет на свободу из тесной и душной клетки, где жили сплетни и раздоры. А мать все же извела соперницу. Была в Галиче смута и заговор бояр, связали они Осмомысла, заперли в тереме, а Настасью перед храмом на площади сожгли на высоком костре — такой зверской казни еще не знала Русь. Убивалась, узнав о том, Ярославна.

— Сама горе изведав, и чужое понять могу, — печально говорила она Святославу. — А пуще всего ненавижу, когда нет мира меж людьми.

Но в мужской беседе жена не советчица: обнесла Ярославна гостей вином и удалилась.

Игорь, пытливо прищурясь, оглядел каждого. На Святославе взгляд задержался: вырос племянник, того и гляди как сын старшего брата потребует свою долю и станет соперником юного Владимира. Молодого жеребчика надо в узде держать, не ослабляя поводья.

— Донесли мне, что Кончак и ханы стоят за Сулою у переяславльских границ и мыслят набег на Киев. И если мы, соединив оружие, пройдем по Дону, по их тылам и становищам — будет нам честь и добыча.

— Добро, — пробасил Всеволод. — Но киевский Святослав Всеволодович скликал нас объединить с ним дружины.

— Киев любит чужими руками горячие угли брать. Много мы от него добра видели? Да и знаете вы наших

князей: один говорит — светай, боже; другой говорит — не дай боже; и третий — нам наплевать.

Святослав, захмелев от вина, смотрел на дядьев влюбленно: это они учили его воинскому ремеслу: нырять под коня на скаку, стрелять из лука; учили варяжскому удару мечом — приняв удар врага на щит, бить его по ногам, а следом обрушить на него тяжесть меча сверху.

— Не пустое бахвальство, а беды и нужда заставляют нас думать о походе. Земли наши — ворота из степи на Русь, и когда ринутся в них половецкие орды, поздно будет думать о победе. Смирить хана, в спину нанести ему удар — вот наша цель, — говорил Игорь, и никто не смел ему возразить.

Пахарь и кочевник — враги исконные и древние. Пахарь живет домом и тем, что земля дает. Кочевнику нужен весь степной простор для табунов коней и скота, а как оскудеют пастбища, основным его промыслом становится набег и война. Перекрыв торговые пути, украсит он кибитку яркими иноземными шелками.

Степь — как море, и гонит по ней ветер времени волны степных племен. В лето 1068 захлестнула ее лавина половцев.

«В один миг половец близко, и вот уже нет его, — пишет греческий летописец. — Сделал наезд, и стремглав, с полными руками, хватается за поводья, понукает коня ногами и бичом и вихрем несется далее, как бы желая перегнуть быструю птицу. Его еще не успели увидеть, а он уже скрылся из глаз».

Народная былина так рассказывает о набеге хана Шарукана на Киев:

Да ни числа им, ни сметы нет,
Да не видно ни солнца, ни месяца
От того же духу половецкого,
От того же пару лошадиного.

Ко святой Руси Шарк-великан
Широкую дорогу прокладывает,
Жгучим огнем выравнивает,
Людом христианским
Речки-болота запруживает...

За столетие совершили половцы почти пятьдесят крупных походов на Русь, и не счесть, сколько было быстрых разбойных набегов, сколько сожжено крепостей и сел и сколько детей и женщин угнано в полон, продано в рабство.

И почти три десятка раз за то же время русские князья, затеявая вражду меж собою, призывали на помощь половецкие орды, отдавая им на разграбление завоеванные города.

Было отчего степнякам силы скопить и наполниться дерзостью.

Стонут приграничные земли от их напасти и ждут защиты.

Прошлым летом киевский великий князь Святослав Всеволодович сумел собрать под свое знамя многие княжества, грозой прошел по половецким становищам, сровнял холмы, возмутил реки и пленил самого Кобяка-хана.

Но рассорились тогда князья, переяславский Владимир пошел зорить Игоревы города, Игорь — Владимировы земли.

— Спорить нам недосуг, — говорил теперь на совете Игорь, — дерзкий поход замыслен, но без дерзости удачу за крылья не схватишь.

Провожая Святослава, обнял его Игорь, по спине хлопал, сказав на прощанье:

— А тебе еще впервые отцовский меч окропить чужою кровью и давний наш позор искупить... не забыл Чернорыю-реку?

ДАВНИЙ ПОЗОР

Было это пять лет назад и было так.

Темна вода в Чернорые-реке. Из сырых чащоб несет она легкую тину и сочные стебли, кружит в буйных омутах жесткие дубовые листья.

Глубока Чернорыя-река, до краев в берегах налита. Говорят, выходят из нее ночами русалки, водят при луне хороводы и грызут кору на дубах. Не доведись конному или пешему войти в реку: защекотят его русалки и утянут на дно.

На реке Чернорые дубы шумят. На реке Чернорые пир идет!

Меж повозок пасутся стреноженные кони, пахнет потом, дымом и сухим настоем жесткого степного разнотравья.

Ближе к воде среди редких дубов—русское воинство, дальше к холмам—половецкий стан. Но перемешались полки, не поймешь, кто к кому в гости приехал. Грустные и гортанные степные напевы смешались с удалыми русскими, пенятся в ковшах хмельной мед и кислый кумыс. Братаются, потчуют друг друга: вместе им идти на Киев—мать городов русских:

Киев-град на щит им взять,
Божьи церкви на дым пустить.

Бедный Киев, недобрый век для тебя настал! Скудеют богатства твои, тает могущество. Была крепка Русь при Владимире-Красном Солнышке, при Ярославе Мудром была сильна. Не было тогда отбою от иноземных гостей, а породниться и завести дружбу с русским князем почитали за честь иноземные государи. Ярославов сын Всеволод женат был на дочери византийского императо-

ра, другой сын — Изяслав — на сестре польского короля, дочь Анна стала французской королевой, другой дочери посвящал свои песни норвежский викинг Гаральд Сме-
лый:

А дева русская в золотой гривне
Пренебрегает мною.

Гаральд стал властителем Норвегии, а дева в золотой гривне его женой.

С германским, английским, венгерским и прочими дворами породнились внуки Ярослава.

В почете была Русь, и перед ее силой трепетали. Единый властелин правил всей отчей землею, и перед стягом его склоняли головы другие города и правители.

А ныне? Разделилась земля на пятнадцать княжеств — Новгород, Чернигов, Суздаль, Галич, Полоцк, Смоленск... И еще при каждом из них по десятку малых городов и уделов.

Мог ли знать юный Святослав, что есть в том разделении свои добрые стороны? Они были молоды — новые города-княжества, и тяготила их опека одряхлевшего Киева. Они сами торговали и строились, жили своею волею и помыслом. Молодость не терпит соперничества, только себя считая правою во всем. Таков был век, что отходили в прошлое древние родовые обычаи, слагались новые из причудливого переплетения православия и язычества. Стремились люди познать мир и жизнь, и потому, особенно в вольном Новгороде, где был грамотен даже простой смерд, возникали еретические веры и течения, а женщины красовались в языческих украшениях. Русь расправляла крылья для высокого полета — что ждет ее впереди, какие грозы и бури?

В полете птицы не ссорятся. Города-княжества жили врагами.

У южных приграничных земель была еще и своя беда: торговые пути к морю — Греческий, Залозный и Соляной — были перекрыты половцами, и потому смотрели русичи в степь глазами, полными ненависти.

Но непримиримей и яростней, нежели со степью, спорили и воевали они меж собою. Племя Ярослава Мудрого стало столь многочисленным, что не хватало наследникам уделов, и каждый из них требовал по рождению своему власти и доли более высокой, чем имел. Потому каждый смотрел на родича, как на соперника и врага, и у подножия престолов родные братья грызлись насмерть.

За тридцать лет на киевском престоле поменялось двадцать восемь князей, иные и дня на нем не удерживались или недели.

Коварством и изменами возвысился над всеми Святослав Всеволодович, тот самый, которого не пускала когда-то бабка в Чернигов. Но вот случилась у него распря с владимирским князем, ушел он с войском на север, а тут смоленский Рюрик собрал родичей и занял Киев. Святослав Всеволодович призвал на помощь Чернигов и Новгород-Северск да еще ляхов и половцев и теперь двигался с севера, а Игорь с ханом Кончаком — с юга.

Юному Святославу шел тогда четырнадцатый год, и не о странностях вражды и междоусобиц мыслил он, а о том подвиге, который свершит в битве, и под колокольный звон въедет в Киев на белом коне среди победителей.

На рске Чернорые — пир идет!

На малой поляне в роще Игорь и хан Кончак состязались в силе и ловкости. Оба крепки и плечисты, оба дерзки и осторожны, сплелись руками, лбами уперлись — борются. У Игоря лицо кровью налито, у Кончака жилы на шее вздулись, словно давние недруги сцепились в поединке, и насмерть идет борьба.

Не чаяли они в ту минуту, что за холмами скопились дружины смоленского Рюрика, сегодняшнего их врага, и готовятся к бою.

Сходу ураганом обрушились они на пирующих, смяли и, как волки обезумевшее стадо, погнали к реке. Закипела вода от барахтающихся тел.

Юный Святослав потерял меч и шлем, поток бегущих увлек его. За кривым половцем прыгнул он в омут, вынырнул и увидел рядом борт лодки. Мелькнуло искаженное злобой лицо Кончака, хан толкнул его веслом в плечо, и он погрузился в коричневый мрак. Легкие напряглись до предела, вот-вот разорвутся без воздуха. Вынырнул княжич, хлебнув со стоном воздух. Чья-то рука схватила его за ворот, втягивая в лодку. Игорь — увидел Святослав.

Кончак бил каблуком и веслом тех, кто цеплялся за борт, отталкивался от их голов.

Потом княжич бежал вместе со всеми, его толкали, обгоняли, какой-то рыжий детина чуть не подмял конем.

Остановились будто все разом: один упал на траву, другой, пошатываясь, побрел искать своих, третий спешил стянуть сапоги и выжать рубаху. Княжич в изнеможении лег под трехствольным кленом и закрыл глаза. Когда открыл их, увидел куст кипрея в розовых цветах и диковинную черную бабочку на нем.

Игорь уже ездил на коне среди воинов, собирая свой полк. Он будто похудел и постарел, резче означился нос с горбинкой, крупные, упрямые, как у всех ольговичей, губы, седая прядь в бороде.

— Ну что, племяш, — пробасил он Святославу. — Как говорят: здравствуй, женившись, да не с кем спать. — Еще хотел что-то сказать, но нахмурился и отъехал.

...Разбив Игоревы и половецкие войска, Рюрик поспе-

шил замириться с родичами. Он покорно уступил Святославу Всеволодовичу титул великого князя киевского, зато себе выторговал Белгород и все окружные земли. И стало с той поры два хозяина на Киевщине — один именовался великим, другой владел его землями.

А Кончак, собрав свое воинство, решил хоть чем-нибудь поживиться и поспешил зорить беззащитные села Новгород-Северска. Игорь, узнав о том, пришел в ярость, грозя хану местью и карой.

„С ДЕТЬМИ ПОЙДЕМ!“

Гудит над городом большой колокол. Побросали люди свои дела, выскакивают на улицу:

— Пожар иль явление небесное?

Улицы рыльские, как тропы в лесу, извилисты, выходят к божьему храму и торговым рядам. Текут по ним людские ручейки, вливаются в поток перед княжьим двором. Не вместиться всему люду на широкий двор. Работая локтями, пробиваются сквозь ряды тринадцать дюжих парней:

— Самошке-кузнецу дорогу!

Шествует за ними старичок, прокопченный насквозь, с бородкой непонятного цвета. Как теленка в лосином стаде, оберегают его сыны. Выбрались в передний ряд, ко крыльцу.

Святослав стоит на высоком крыльце в окружении бояр и воевод сивоусых. По случаю веча облачился он в кольчугу и красный плащ, шлем с золотой насечкой придерживает у груди. Против степенных воевод и сотников еще младенец — и бороденка жидковата, и телом еще

не окреп. Бледен он и встревожен: поддержат ли его люди рыльские? На всякий случай заслал в толпу крикунов, чтобы при нужде горла не жалели. О князем недавнем сговоре держит он слово на вече.

— Кузнец дважды крещеный тута, начинай! — выкрикивают и смеются в толпе.

Речь Святослава не была долгой, и без того ведомо рыльскому люду, сколько обид чинят им половцы, как в песне поется: «села огнем палят, люд христианский в леса разбегается». Русские кони пасутся в степных табунах, русские женщины, угнанные в полон, готовят ханам кислый кумыс.

— Седлать коней зову вас, братие и дружина, смерды, торговые и работные люди! У кого коня нет и оружия — своим поделюсь.

Колыхнулся народ, зашумел. Самошка выкрикнул визгливо, даже голос, как у молодого петушка, сорвался:

— С детьми пойдем, Ольгович!

— Куда тебе, старому, версты мерять, — гаркнул кто из народа. — Пусти сынов одних, а сам дом сторожи!

Самошка вытянул шею, выглядывая обидчика, еще задорней поднялся хвост его бороденки:

— А куда они без меня? — показал на плечистых с разбойничьими лицами сыновей.

Дрогнули передние ряды от хохота, и крик одобрения: «С детьми пойдем!» — был подхвачен всею толпою. Святослав вздохнул полной грудью и легко улыбнулся.

По случаю великого похода забражничал Самошка, ходил по улицам и орал соромные песни. И всюду следовали за ним сыновья в расшитых праздничных рубахах. Выбрался кузнец на городскую стену, постоял в раздумье, покачался и погрозил сухим кулачком в сторону степи.

— А вы чего рты поразинули! — грозно прикрикнул он на сыновей, и те обратили к степи пудовые свои кулаки.

Домой возвратился кузнец совсем пьянехонек. Сыны вели его осторожно, подхватив под мышки, а он свесил бессильно голову и что-то бормотал. Когда ноги его совсем волочились по земле, сыны подбадривали:

— А как ты, батя, в Олеговом войске ходил?

Кузнец вскидывался, выпячивал грудь и старался идти сам, высоко задирая ноги.

Агафья возилась у печи. Сыны усадили кузнеца на лавку, он навалился на корчагу с квашней и въехал рукою в тесто. Агафья взяла его в охапку, как беремья дров, и завалила на печь. Самошка обиделся:

— Может, мы животы сложим, а в тебе никакого уважения!

Дрогнула широкая спина Агафьи, сынам почудилось, что она всхлипнула.

ВСТРЕЧА

Веселися, народ, скоморошина идет!

Появился гуслир белобородый на княжьем дворе, когда были там суета и гомон, дружинники сновали из терема в терем, спорили и пробовали оружие. Гуслира окружили: «Повесели душу, старинушка!» — и он тряхнул лешачьей бородой и заприговаривал, ногой себе притопывая:

Как струна-то загула, загула,
Как другая приговаривала,
Пора молодцу женитьбу давать,
Молодому князю свататься...

Услышал Святослав знакомый басок, спустился с крыльца, но из-за спин челядинцев не разглядит певца.

Стару бабу за себя ему взять,
Стару бабу на печи держать,
Стару бабу калачами кормить.

Раздвинул людей Святослав, пробрался к гусле.

Кабы бабе калача, калача —
Стала б баба горяча, горяча,
Кабы бабе молока, молока —
Стала б баба молода, молода...

Видит Святослав седую бороду с прозеленью, густые лешачьи брови и смешливо прищуренный взгляд.

Кабы бабе сапоги, сапоги,
Пошла б баба в три ноги, в три ноги!

Путята! Вот кого не ждал и не чаял он видеть. В те годы, когда был Святослав отроком, повстречались они, сколько лет с той поры минуло.

Копилась тогда гроза над Заднепровьем, плескались дальние молнии и ворчали громы. По-над берегом у перевоза, где поставлена сараюшка на случай непогоды, сидел старик, похожий на лешего: лаптишки потрепаны, одежонка от пыли поседела. Рядом в кожаном чехле гусли, мешок да суковатый посох — знать, не ближнего пути странничек.

Лодка ушла на тот берег, и не спешил перевозчик возвращаться. Княжич присел рядом со стариком, спросил:

— Чей ты и кому служишь?

Хитро сощурился старик, будто сказать хотел: не тебе бы спрашивать и не мне отвечать.

— Служу всем и никому: всем богам по сапогам, а богородице — туфли, чтоб ноги не пухли.

— Вроде бы видел я тебя при дворе в Чернигове. Выгнали, что ли?

— Сам ушел. Придворный воздух для скомороха вреден, к ожирению располагает. Убивцы сидят в высоких-то теремах, берут они твою душу за крылья и ну пытаться. Трижды убийца тот, кто убивает мысль и песню.

Святослав вспыхнул от дерзкой речи, но сдержался, пересилило любопытство. При княжьих дворах полно скоморохов, гусяров и гудошников, наперебой славят они господина и друг друга с места теснят. А этот или не похож на них, или зело обижен.

Когда снова показала туча огненный язык и раскатился гром над побелевшей водой, гусяр поднялся во весь свой рост, ветром растрепало его лешачью бороду:

— В такой час деда наши Перуна славили... О, Перун, добрый отец, у тебя семь сыновей: трое — чтобы потрясать небо грохотом, двое — чтобы поражать, двое — чтобы пускать стрелы молний. Катись, Перун, над лесами и не сделай никому вреда, ни черешневым цветам, ни пахарю. Греми, шуми, Перунице, ломай мосты над Днепром, чтобы не прошли по ним вороги!

И загрохотало над их головами, и откликнулись на зов дальние громы. Прошел волною ветер и стих, и дальний берег скрыло ливнем. Спрятавшись под навес, княжич и гусяр смотрели, как движется на них стена ливня. Упали первые капли на крышу, и через минуту все поглотил плеск и шелест. И верилось, что и голоса громов, и дождь, и пенистые потоки — не мертвая стихия. Все на свете имеет живую душу и может гневаться, буйствовать и ласкать.

И словно угадав состояние княжича, поведал ему гусяр древнее предание о человеке и его родстве со всем сущим вокруг.

Лежала Земля-девица во мраке и холоде, ветры и бу-

ри пели ей черные песни, снегами и льдом пеленали. Одинокую и сирую увидел ее Ярило — солнце красное, по небу гуляя. Люба стала ему Земля, обнял он ее жаркими лучами, растопил мрак и холод. Расцвела и преобразилась Земля от горячей его любви, лесами-травами приоделась, реками-ручьями приукрасилась. Народила она Яриле звонких птах и резвых зверушек, но не было еще у них сына любимого, чтоб стал он достоин отца.

И снова затяжелела Земля от Ярилы, и пока он в других краях небесных странствовал, родился на свет Человек. Рос он дик и непокорен, что зверь лесной, грыз коренья болотных трав и спал в пещере. Осадил Ярило огненную тройку, увидел сына диким, неразумным, поднявшим на отца дубину, хлестнул его вожжей-молнией. И преобразился Человек, спала с глаз пелена слепоты, и ожили в нем дремавшие мысль и разум. Тем и велик Человек, что дано ему проникнуть в тайны жизни и достигнуть небес полетом мысли.

Ливень давно кончился, тише урчали потоки в ярких солнечных отблесках. Разволнован был Святослав, виделся ему Человек на вершине холма — дерзкий, непокорный, не склонивший головы перед богом-отцом. Дремучая первобытная красота и мудрость живут в древних преданиях, за что же изгоняют их как греховные и еретические?

— Тем ли мы живем? — ворчал гусляр. — В обычаях своих стали подобны лесному зверю: кто сер — тот и съел. Брат на брата восстал, и не зря поется в припевке: «Не руби села возле княжья села, не строй двора возле княжья двора: дружина его — что искры, бояре его — что пламя»...

Гусляр стал в дорогу собираться. Худ и костляв, теперь он казался и ростом выше и лицом мрачнее.

— Прощай, отрок. Коль не приглянулась речь моя —

не обессудь. — И побрел на взгорье, обходя ручьи и лужи.

Вскоре прослышал Святослав, что заточили того гусяра в поруб. Пел он на монастырском дворе крамольные песни, о создании человека недостойно сказывал. За такие речи монахи не милуют, ждали гусяра пытка и мучительная кончина. Сам не знал княжич, как на такое решился: прискакал он к порубу, сказал стражникам, что велено ему заточенного представить пред светлые очи великого князя. Вывел он Путятю из Киева и проводил верст на десяток в сторону древлянских лесов.

И была у них ночь у костра, кипятилок со смородиной и загадочные Путятювы сказы. Как не похожи древние предания на нынешние бывальщины и песни! Они скупы словами, но живет в них обнаженная и жестокая земная правда. Поразила тогда Святослава повесть о славянском князе Бусе, что жил семь столетий назад. Было у него семь братьев и сестра Лыбедь.

Полчища готов пришли в славянские земли. Была битва, и молодой Бус казался народу подобным Перуну, когда удары его меча блистали, как молнии. Но одолели готы и распяли на деревьях Буса, семь его братьев и восемьдесят старейшин. Народ предался отчаянию, женщины рвали на себе волосы и одежды. И плакала сестра Лыбедь над телами братьев:

Как глаза мои со слезами
Не падут на сырой песок,
Как от горькой этой печали
Не расколется сердце враз...

«О, родина Буса, его уже нет с нами. Плачь, народ, но не покоряйся, если будет добывать тебя гот!»

Вряд ли сознавал Святослав, какие тайные струны разбудил в нем гусяр, но по-иному открывалась ему

песенная Русь, огромная и непостижимая, всегда новая и неожиданная, и оттого роднее и загадочней звучало для него слово — родина. Бездонна и беспредельна река песенного творчества, взявшая начало из глубин времени и принимающая в себя новые потоки и речки.

Из-под дуба из-под сырого,
Из-под вяза из-под черного,
Из-под бела горюч-камешка
Выбегала мать Днепр-река...

И, как синий Днепр из-под дуба, зажурчали два столетия назад, при Владимире — Красном Солнышке ручьи новых напевов, которые потом назовут былинами. Живет в них земная мужицкая правда и широта.

Сказка — ложь, да в ней намек... И восхищался Святослав сказителями, родившими своим воображением Микулу Селяниновича, Илью, Добрыню, и раздражали они его насмешкой над княжеской властью и устройством Руси.

И спорили они тогда с Путятю, и снова мирились. Сказал гуслир ему на прощанье:

— Если ты к песенному мастерству тянешься, как деревце к солнышку, значит, есть в тебе жажда высокой правды. Не затуши ее и не замути.

ПОХОД

Кони ржали за Сулою: в приграничную степь на молодую траву пригнали половцы свои табуны. Отсюда, с Хорол, мыслил Кончак новый набег, но был встречен киевскою дружиной и после недолгой битвы отступил, бросив осадные машины, мечущие огонь за городские

стены. И теперь был он встревожен слухами о том, что по берегу Дона к зимним его становищам и тылам двинулись Игоревы полки.

Слава звенела в Киеве: праздничным пасхальным звоном играли колокола в честь святого воскресенья и недавней победы над Кончаком, а по городу, как диво дивное, возили те машины, стреляющие огнем.

Трубы трубили в Новгород-Северске: 23 апреля 1185 года, в день святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Игоря, двинулось войско высоким берегом Десны и, казалось, нет ему конца. В десяти верстах от города над крутым обрывом — сторожевая крепостишка, а за нею внизу извечный путь через Десну. Отсюда открывается вид далеко на юг в сторону степи, и с крепостной башни смотрела Ярославна вслед уходящему войску.

Стяги трепетали в Путивле: дружины юного Владимира и Святослава ожидали здесь Игоря.

Соединившись с ними, Игорь спешил перейти Донец. И когда скопилось войско на берегу, мая первого дня, в три часа пополудни вдруг погасло солнце. При безоблачном небе стало оно вдруг темнеть, и только краешек его, похожий на рожок, горел кроваво и тускло. Землю окутал сумрак, неяркие звезды мерцали, как перед непогодой. Умолкли птицы в глухой тишине, и только кони тревожно ржали, рвали поводья и взметывались на дыбы.

Не успели люди понять случившееся, сумрак рассеялся, и солнце засияло еще ярче и горячеей. Что было с ним — крылатый ли змей обнимал его крылом или само оно, чтоб не видеть на земле чего-то, не любого ему, затмило лицо свое в гневе и печали? Ропот возник средь войска: недобрый знак, не желает светило войны и похода в степь, предупреждает их о грядущей беде. Мужичи, испытанные в ратях и не ведавшие страха, часто крести-

лись — не в силах человек побороть страх перед неведомым.

Тучный Ольстин, воевода полка черниговских ковуев, прискакал к Игореву шатру, кричал, утирая рукавом пот:

— Узрел бог нашу дерзость, повелевает вернуться. Дружины ропщут, и никакую силою их не сдержать.

Игорь, словно проснувшись, поднял руку, требуя молчания и покорности, сказал собравшимся вокруг воеводам и сотникам:

— Помыслов божьих не ведаем, и знаменье небес понять нам не дано. Но лучше погибнуть со славою, чем вернуться с позором. Женщины будут смеяться над нашей трусостью! Испытаем судьбу: или головы сложим в конце половецкого поля, или после ратных трудов зачерпнем шеломом воды из великого Дона!

И приказал играть поход. В тот день перешли Донец и двинулись по Балинской дороге в междуречье Оскола и Донца, углубляясь в сосновые леса. И леса поглотили войско.

Святослава не покидало предчувствие беды. Толковали, что однажды после такого затмения был мор на скот, в другой год пришел великий зной, пожегший хлеба. Не к добру знамение.

— Меньше на небо смотри, споткнешься, — сказал ему Путята, ехавший рядом.

Они теперь не расставались, и гуслиар как-то сказал:

— Не знаю, почему я к тебе привязался.

— И я тоже.

— Я одинок, очень одинок... Ты пробудил во мне непонятные надежды. Какие — не знаю. Ты тоже одинок, хотя и не сознаешься в этом. Ты словно бы ждешь подвига и полета, а крылья подрезаны. Кто знает, где он и каков обликом твой подвиг, но ты придешь к нему.

О затмении Путята сказал, что это сам Дажьбог, небесный пращур русичей, знак им подал, требуя жертвы, что там, в степи, где властвуют чужие боги, не будет им его покровительства.

— Един господь на небе, а русские боги теперь вроде как сказка, — неуверенно возразил Святослав.

— Думаешь, отвергнув русских богов, умертвили их? — возразил Путята. — Живы они. Отвергнутые боги мстят! Ты еще вспомнишь их и к ним вернешься.

Святослав усмехнулся: не хотелось спорить с Путятой. Но в одном он прав: очень одинок Святослав. Двадцатый год ему — пора мужества. Все, к чему тянуло в отрочестве, казалось теперь пустой забавой.

Он изгой, лишенный наследства, и путь на высокие троны возможен только по трупам дядьев и родичей, а это гадко и противно его натуре. Неутоленное честолюбие и молодость требовали деятельности, душа его бродила и пенилась, как молодое вино.

Три последних года не знал он удачи и радости. Чтоб укрепить родство с соседями-соперниками, сосватали ему дядья княжну Анастасию, совсем еще девочку, голенастую и худенькую. Свадьба была пьяной и громкой, на столах, как сказал кто-то, было «по обилию от всякого изобилия». Жених и невеста робели друг перед другом, и она рассказывала ему, что в смоленских лесах у отца есть рогатые медведи.

Счастье было недолгим. Анастасия уехала зимой к отцу, простудилась дорогой и умерла. Вознося руки над ее гробом, Святослав кричал в слепом отчаянии на бога: «За что!» И сам испугался этого крика.

Быстротечна слава, а вина вечна и до конца дней будет твоею спутницей: ему казалось, что он был виновен в смерти юной супруги, отпустив ее зимою в дорогу.

Он искал утешения в работе. Заново отстроил терем,

крепость и частоколы в городе, набрал дружину из молодых парней, учил их искусству боя и сам учился с ними. Работа уводила от душевных терзаний, но в час покоя они одолевали снова.

Обращался он к любимым своим книгам, пересказывал на русскую речь византийского поэта первых веков христианства Григория Назианзина, поразившего его изяществом, вкусом и искренностью:

О, что со мною случилось? Пустота в душе,
Ушла вся сладость мыслей благодетельных,
И сердце, онемевшее в беспамятстве,
Готово стать приютом Князя Мерзости.
Не допусти, о боже! Пустоту души
Опять твоей наполнию благодатью.

Он упивался высокой тоской и мелодией слов, и влага подступала к глазам.

Кидался Святослав и в другую крайность: молитва и песня расслабляют, ныне нужны слова тяжелые, как камни!

Он видел Русь в грязи и крови и жил предчувствием надежды: должна же родиться сила, способная нарушить привычный порядок вещей и ход событий? Или, может быть, безнадежность положения будила эту призрачную надежду?

Тогда и возникла у него еще неясная мысль о новом храме веры и жизни. Дерево не похоже на семя, из которого выросло, новая Русь не похожа на прежнюю. Но есть вечное и непреходящее — душа народа и его быт. В пепле язычества тлеет живой огонь. Его времени суждено возвести новый храм жизни — пусть украсят его узоры древней русской мудрости и высокая проповедь Христа, обращенная к человеку.

Мечтою этой он поделился однажды с Игорем и Ярославной, гостя у них. Игорь посмеялся:

— Построил дом: решето решетом, дыр много, а не выпрыгнешь. И спереди хитро, и сбоку хитро, а сзади мудрей того...

Обиделся Святослав, уехал.

Что же есть мера вещей и жизни? Многих он об этом спрашивал, каждый отвечал по-разному:

— Ремесло и труд, украшающие землю, — объяснял когда-то боярин и монах отец Феодор. — Человек не может простить небу, что смертен, и утверждает себя делами, чтобы стать подобным богу.

— Сила! — доказывал Игорь. — Она дает достоинство, уважение и право судить людей. Слабого бьют!

— Красота земная, рождающая любовь, — говорила Ярославна. — Уговаривались со мною плотники о новой церкви и положили так: а строить тот храм, как красота и мера подскажет.

— Вера! — убеждали в голос отцы церкви. — Без нее человек подобен зверю. Жаль, что не многие веруют от полноты души, большинство от страха или по привычке.

— Закон и обычай, — утверждал Путята. — Он основа всему и скрепляет народ воедино. И разум — поводья в наших странствиях.

Так есть ли она, единая мера всему сущему, для всех людей общая?..

Но меняется лик земли, и новый день не похож на прежний. Теперь жил Святослав, забыв сомнения и тревоги, только одним — походом.

Скоро двигались полки и через несколько дней достигли речушек Сальницы и Изюма. Игорь позволил отдых, ожидая брата Всеволода, что поспешал сюда другой дорогой из Курска.

Здесь граница лесов и русской земли, здесь последний рубеж — гора Кременец, похожая на шелом, с которой открывается вид в бесконечную степь.

Лазутчики донесли: ездят половцы в доспехах и при оружии, словно прознали о походе. Или поспешать надобно, или ворочаться.

Снова пришла тревога. Поднявшись на Кременец, смотрел Святослав на дальние холмы, где, наверное, стоят каменные половецкие идола. Там, за ними, идет Муравский шлях — древняя дорога к морю, к Тьмутаракани, старому русскому княжеству, ныне потерянному. Говорят, дома и стены помогают, а кто им поможет в чужой земле?

Всеволодов полк прибыл шумно. Воины все плечисты, как на подбор, на сытых конях, вооружены и одеты на зависть. Похвалялся Буй-тур, что о воинах его поют гусяры: под трубами они повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены; все дороги им знаемы и овраги ведомы, словно волки, в поле рыскают, ища себе добычи и славы князю...

ЧАГА-НЕВОЛЬНИЦА

Скрылась за дымкой гора Кременец, похожая на шелом, — русской родной земли порубежье. Степь зацвела тюльпанами и при закате казалась кровавой. Тревожно пересвистывались суслики-байбаки, они замирали, как столбики, возле нор и вдруг мгновенно в них исчезали. Ленивые орлы парили в выгоревшем небе, а по ночам близ лагеря сновали и лаяли лисицы.

Игорь и Всеволод шли с обозами не спеша, вперед пустив легкую конницу Святослава, Владимирову дружину и черниговский полк ковуев с воеводой Ольстином.

И однажды, когда растаял туман, увидели они за ре-

кой половецкие кибитки. Суетились между ними половцы, два конника подскакали к реке, пустили по стреле и помчались к становищу.

Не успел Святослав подать знак, а мимо уже летели всадники, горяча коней и себя. Кажется, запрудило войско реку во всю ширину: по центру Святославовы сотни, а справа и слева Владимир и черниговские ковуи.

Не принимая боя, уходили половцы, бросали юрты. Женщины на повозках нахлестывали лошадей, не поспевая за умчавшимися верховыми. Настигали их русичи, на скаку прыгали в повозки — крики, вопли и плач!

Резвы половецкие кони и увертливы воины — который час идет бешеная скачка, а не многих настигли. Святослав опьянен восторгом погони. Откуда-то из оврага вынырнула повозка, крытая шелком, одичавшие кони несли ее по кочкам и рытвинам и казалось, вот-вот опрокинут. С воплем скакал за нею толстый воин в богатом синем плаще. Святослав повернул коня им наперерез. Он почти настигал повозку, видел нахлестывающую коней женщину и искаженное страхом ее лицо, когда сломилось колесо, женщину отбросило в сторону и белые кони уволокли остатки разбитой вдребезги повозки.

Святослав поспешил к упавшей. Совсем еще юная круглолицая половчанка смотрела на него глазами, полными ужаса, заслоняясь от него рукою.

— Не бойся, не обижу, — вспомнил он с трудом половецкую речь.

Подскакал толстый воин, спрыгнул — то был воевода Ольстин — и, растопырив руки, словно ловя зверька, пошел к пленнице:

— Моя!

Половчанка, вскочив, бросилась к Святославу, словно ища у него защиты, и прижалась к нему, легкая и трепетная.

— Моя! — хрипел взбешенный боярин. — Отдай!

Святослав, оттолкнув пленницу, пошел на боярина с обнаженным мечом, и, видимо, была в его глазах такая безумная ярость, что воевода попятился. Уже издали он крикнул:

— Попомнишь!

В три конца степи рассыпались конники. Никто не заметил, как спала жара, как степь окутали сумерки. Трубы трубили сбор, но их мало кто слышал: далеко ушли разгоряченные воины.

О РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, ТЫ УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ!

В Голой Долине у каменистой Каялы-речки, что берет начало из Маяцкого леса, стали лагерем Игоревы полки. И ночью и утром возвращались сюда ковуи и дружинники Святослава и Владимира, опьяненные первой победой и неожиданной добычей. Пестрое это было воинство: кто ехал на повозке, полной всякого скарба, кто тянул на аркане пленника, кто напялил на себя десяток половецких одежд и был похож на огородное пугало. Святослав преподнес Игорю захваченные им знаки ханской власти — бунчук и копье с золоченым древком и белым конским хвостом.

Недолгой была радость. К полудню стали возникать вдали, как дымы над горящей степью, хвосты пыли. А к вечеру пыльная дымка окутала степь со всех четырех сторон. Половцы малыми отрядами ездили не таясь, ниже по речке поили коней, что-то кричали и смеялись. На одних были кафтаны с нашитыми на них железными пластинами, на других куртки из толстой кожи.

Игорь собрал княжий совет. Был он бледен, сутулился. На Святослава глянул зло, как на виноватого.

— Всю степь собрали мы на себя — и Кончака, и Гзу, и Токсобича, и Кулобича, и Степича, и других ханов больших и малых — все они тут. Словно ждали нас.

— Шли по шерсть, а возвращаться стриженным, — хихикнул Ольстин.

— Пришли не званы — дай бог, уйдем не драны, — в тон ему ответил Игорь. — Не одолеть нам половцев, уходить надо. Пешее войско обречено, оно примет битву. А мы налегке с конными дружинами уйдем ночью на рысях к Муравскому шляху.

Святослав спросил растерянно:

— Сами утечем, а черных людей на погибель бросим?

— А что делать? Сами вырвемся — дружины сохраним, они оплот и защита земли нашей. А все войско погубим — кто княжества оборонит? Я виновен в том, что сюда вас привел, и грех за гибель людей на себя приму.

Святослав уперся:

— Кони мои притомились, не отошли после вчерашней погони, не выдержать им долгой скачки.

— Верно говорит племяш, — поддержал его Всеволод. — Битва так битва. Не пристало нам хвост казать недругу, а мертвые сраму не имут.

— Так и порешим. — Игорь враз преобразился, словно помолодел. — В открытой степи половцев нам не одолеть. Снимемся в ночь и будем с боем пробиваться к Донцу — там леса и дубравы станут нам защитой.

Святослав вернулся к своим, приказал накормить людей, коней напоить.

— А где варить? — бранился Самошка. — Травой и прутьями добрый костер не изладишь.

— Руби телеги, не понадобятся, — приказал Святослав.

Закат был красен, предвещал ветер. Где-то в кустах зашелкал соловьишко и смолк. Воины толпились у телег, тревожно глядели в степь и неохотно спорили, понимая, что ждет их завтра. Возле обозов сгрудились они вокруг Путяты-гусляра, и он, на телеге сидя и прикрыв глаза, пел:

А той силушки половецкой
Черну ворону в ночь не окарки,
Серу волку в день не обегати,
Добру молодцу в день не объехати...

Так оно и есть: не объехать и не окаркать степь, поднявшуюся на них.

Течет быстрый Днепр не по-старому,
Пожирает в себя круты берега,
По-под бережку несет ветляный лес,
По струе несет кряковый лес,
Посередь Днепра несет борзых коней
Со доспехами богатырскими...

Тревожен сказ, тревожны думы. Кому-то завтра пасть на молодые травы, и не оплачут родные их костей, выбеленных солнцем...

Встребенулся вдруг гусляр:

— Эх, гни песню новую, что дугу черемховую. Выходи в круг, кто плясать охоч — сердце потешить и ноги поразмять. — И ударил по струнам:

Жил-был дурень, жил-был бабин,
Вздумалось дурню по Руси гуляти...

Прислушался Святослав к тяжелому топоту с присви-стами, улыбнулся: велика душа русская — в радости ее не унять, в беде не понять. Все больше крепнет у князя надежда: не пировать половцам победы, полону не радоваться, насмерть встанут русичи против несметной их силы.

У шатра ругался тощий ратник, держась за голову: какие-то люди, зарясь на княжье добро, оглушили его, но взять ничего не успели и скрылись. Святослав подумал об Ольстине: не он ли подсылал своих людей выкрасть половчанку?

Она, как пугливая соболушка, забилась в угол шатра и словно бы обрадовалась его приходу.

— Уходи к своим, пока время есть.

— Некуда мне идти, — ответила она. — Не примут меня родные.

— Расскажи о себе.

— Отец говорил мне: будешь ты женою батыра. Я ждала его и думала, что он красивый и сильный. А приехал старый хан Елдечук, кривоногий и смешной. Я должна была стать младшей женой в его юрте. Я долго плакала. Про Елдечука рассказывали так: попал воробей в орлиное гнездо, и стали его считать орленком. Все орлята выросли, а воробей таким и остался. И все поняли, что он воробей. Но матерью его считалась орлица, и потому не посмели выбросить его к воробьям. Так и живет он среди орлов и принимает орлиные почести.. Елдечук хотел приехать за мной, и я убежала из родного становища. Тут пришли вы и стали воевать...

Святослава поразили ее рассказ и нерусская смуглая ее красота.

— Нельзя тебе здесь оставаться, — сказал он. — Уходи куда-нибудь, но подальше. Я скажу, чтоб тебя проводили — не женское дело война.

И вышел.

Ночью снялись полки и неспешно двинулись в глубь степи, в сторону Донца, готовые при первой тревоге изготвиться к бою. У солончаковых озер застал их ветренный рассвет. Кони фыркали и не желали пить: вода в озерах была соленой и горькой.

КОНЧАК

Под зловещей звездой, мерцавшей кровью, родился Кончак. Беззубая повитуха, принимая младенца, пела над ним:

«Я перерезаю твою пуповину, знай: кибитка, в которой ты явился на свет, не твое жилище. Ты воин, ты птица и волк. Для битвы послан ты на землю и твое ремесло — война. Твой долг — напоить солнце кровью врагов, а тела их бросить земле, и она их пожрет».

В юности слышал он те же песни; тоской и слезами прерывался голос шамана у жертвенного костра, когда пел он о Шарукане Старом:

«Твое движение заставляло колебаться землю, одним взглядом ты покоришь десять народов, освещенных солнцем. О божественный Шарукан, в кого воплотилась твоя великая душа?

Вернись, мы ждем тебя! Мы живем в необъятных степях, тихи и робки, как ягнята. Но наши сердца кипят, они полны огня. Где наш великий вождь, который обратит ягнят в волков, пастухов в батыров? Вернись!

У кипчака крепкие руки, чтоб укротить лошадь, но он не имеет силы натянуть лук предков, и глаза его не могут разглядеть пределы врага. Вернись!

Я вижу, на святом кургане развевается красный плащ, и надежда расцвела под сенью наших кибиток. У ног божества мы сжигаем душистую ветку емшан-травы и несем тебе дары от наших стад. Мы готовы, кипчаки, мы ждем! Вернись!...»

У народа есть свой восход и полдень. В давние века на краю степи меж Иртышом и Тоболом жил древний народ канглы, их соседями были хунны — гумугунь и кипчаки. От этих трех народов ведут начало половцы,

почитая за своих предков волка и степную лань. Канглы не были узкоглазы и скуласты, и волосы их были цвета соломы-половы. Потому половцы то смуглы, то светло-волосы, и красивы их девушки, кровь трех народов играет в них. Когда стали племена многочисленны, а табуны вытоптали травы, двинулись они на закат, к Яику, к Итилю, и бежали от них гузы-туркмены в пустыни, угры — в северные леса, печенеги — через Хазарию, в Причерноморье. И еще прошло время, и заполонили кипчаки-половцы степи Дона и Днепра. И повел их тогда Шарукан Старый на Киев, но был разбит и пленен.

Кончак — внук Шарукана, и мечта о мести углем жжет его сердце. Кончак — сын Отрока, о котором поют печальную песню.

Князь Владимир Мономах прошел грозою по половецким становищам до излучин Дона; без резвых табунов, в разоре остался хан Сырчан, а брат его Отрок бежал к Железным воротам — горам Кавказским. В довольстве и почете проводил он там дни свои, не вспоминая о выжженной солнцем степи. Но послал к нему Сырчан певца своего Ореви и велел сказать: «Воротись, Отрок, в землю отцов». Не захотел Отрок слушать певца и не дрогнул от гортанных его напевов. Тогда достал Ореви пучок серой емшан-травы — полыни, и от горького ее запаха дрогнули ноздри Отрока и увлажнились глаза. И ушел он от безбедной жизни и почестей в голодную степь, где родился и вырос.

Кончак стал воином, как предсказывала повитуха. Половецкие орды — как дикие табуны, им нужен табунщик. Под своею рукою собрал он многочисленные их племена и стал первым среди ханов. Он — каган, железные батыры добыли ему славу и силу. Он видел, как однажды его батыр, изрубленный и поверженный, грыз землю, не чувствуя боли, и кричал, чтоб дали ему саблю. Кон-

чак был такой же воин и в походе нес на плече медный котел наравне со всеми.

Воины — волки, им нужна добыча, чтоб не разбились они на одиночные стаи. Кончак указал им добычу — приграничные города Руси, и их ноздри трепещут и глаза горят голодом. Пастушьим ремеслом не добудешь золота и шелка. Кончак перекрыл торговые пути на Русь, его воины спят на коврах и едят на серебре. Много раз возвращался он с богатым полоном и добычей из русских земель — и когда призывали его в помощь князья, и когда сам на них нападал. Его женщины кутаются в русские меха, в их косах звенят монеты многих земель, как простые стекляшки перебирают они в ладонях рубины и жемчуга.

В начале весны мыслил Кончак набег на Киев, собрав для того полстепи, но встречен был дружинами и отступил. Голодными остались волки. Но не успела досада разъесть сердца и поссорить ханов, как настигла их весть об Игоревых полках, идущих к ним в тыл. И двинулась орда назад перекрыть пути. Что пять тысяч воинов для бесчисленной орды — добыча сама шла в капкан: раскроется пасть битвы и поглотит русское воинство, не подавившись.

Кончак ожидал Игоря, затаясь за холмами, за Тором-рекой. Он велел пограничным станам дразнить русичей, заманивая их в степь. Теперь Игорь торжествует первую победу, не зная, что ждет его с рассветом.

Тело в душе Кончака торжество, но не спешил он ему предаваться. Кликнув старого колдуна, усакал с ним в полнощную степь. Колдун был бос, безрукавый плащ из козьих шкур подпоясан уздечкой.

У края оврага, заросшего лозняком, колдун принял ханского коня. Хан шел по бровке, по седому от росы ковылю, всматриваясь во тьму. Присел и поднес ко рту ла-

дони, и сперва низко и хрипло, потом тоскливей и тоньше поплыл над степью волчий стон и оборвался почти на визге.

Глуше и тревожней стала тишина, а хан слушал. И снова, запрокинув голову, завыл тоскливо и тревожно. И снова слушал.

Вдруг совсем близко в глубине оврага отозвался ему зверь долгим воем, и вой подхватила стая. Казалось, вся степь наполнилась жутким этим стоном, то выли не звери — души предков — и просили отмщения. И сердце Кончака дрогнуло радостью: добрая примета перед битвой.

Беззвучно засмеялся он и вернулся к колдуну. Еще перекликалась стая, а кони уже мчали их к бесчисленным кострам, мерцавшим от края и до края степи.

Потом на холме у подножья каменной бабы плясал колдун танец ворона и орла, то приседая, то вывертывая крыльями руки:

«Слушайте мой голос вы, птицы битвы! Будет вам пир, и вы разжиреете от него. Я вижу, как проносите вы сквозь ряды врагов, я завидую вашим крыльям и крепости ваших когтей. Я собираю пламя и бросаю вам: пусть огонь разбудит в вас ярость и жажду. Помните: труп врага пахнет сладостно, убитые вами враги станут вашими рабами в стране предков!..»

Брезжила заря на востоке, и была она одета в кровавый плащ надежды. Запах конского пота и полынной горечи нес ветер. Все предвещало удачу.

А далеко у соленых озер мерцали другие костры — русские.

Лазутчики, прискакавшие оттуда, сказали, что русичи снялись и двигаются вдоль соляных озер к Донцу. Тут, на солончаковой равнине, и сомкнутся уготованные им клещи.

БОЙ

Перегородили русичи степь красными щитами. За щитами стали лучники. Не сближаясь до сабельного боя, как волны, вал за валом, накатывались на русский стан половецкие конники. Свищут стрелы, впиваясь в кожаные щиты. Русские стрелки бьют тяжелыми стрелами, норовя поразить коней. Вопли раненых гаснут в топоте и гике.

Но вдруг тревожно запели трубы, раздвинулись лучники, и потекла в проход конная дружина с копьями наперевес. Завязался короткий бой. Не выдержали половцы, повернули коней. Самошка на кобыле с белым пятном ринулся было их преследовать, но оттеснили его сыны: на выручку своим шли от курганов новые половецкие сотни. Отступили русичи под защиту стрелков.

Ночью перед боем заставил Самошка сынов облачиться в чистые рубахи, а сам еще и лапти снял: если придется предстать перед богом, так чтоб без лишних одежд и вещей, налегке.

То принимая сабельный бой, то снова уходя под защиту лучников, медленно продвигались дружины в сторону Донца. На солончаковой бугристой равнине окружили их Кончаковы орды, не пуская к реке, изматывая короткими и быстрыми налетами. Только к ночи отошли в глубь степи.

Майская ночь темна и коротка. Шатаясь, прибрел Святослав к своему шатру, увидел в лунном свете лицо половчанки. Подивился, почему не ушла к своим и его, как супруга, встречает: разула, растерла грудь пахнущим травами зельем, уложила голову к себе на колени. Улыбнулся он ей устало, так и уснул с улыбкой. Ласкала невольница спутанные его кудри и плакала.

А когда подняли князя с рассветом призывные трубы, половчанки в шатре не было. Ночью спутали ее ремнями Ольстиновы слуги, и, перекинутую через седло, увез ее коварный боярин в степь. Заранее присмотрел он овраг, по которому можно пройти меж сторожевых половецких костров. Степняки сами утомились от битвы, за одним человеком не погонятся. Не скорбел Ольстин о дружине, которую оставил на погибель, своя жизнь дороже.

С первыми лучами солнца еще яростней обрушились половцы на русские полки, стараясь рассечь их, отеснить друг от друга. И к середине дня раскололся русский стан надвое, обходя с обеих сторон соленое озеро.

Самое страшное в бою — усталость, отнимающая силы. Падали кони, не выдерживая жажды и утомления.

Святослав перестал следить за боем, сам бросался в сечу. И с ним — Самошка и его сыны. Они отесняли отца, заслоняли его собою, и он бил их кулаками по спинам. И прошлый день так же заслоняли его сыны. За такое непослушание ночью разложил их старик на земле и хотел выпороть. Одному досталось, на остальных сил не хватило...

И снова была короткая ночь и тревожный рассвет. Уже без надежды вырваться из петли, затянутой Кончаком, вступали в сечу воины. Под Святославом пал конь, и он рубился вместе с пешими. Оттеснив поредевшую его дружину от других, насаждают степняки. Святослав двуручным мечом бьет наотмашь. Заметил издали красный плащ и золоченый щит Всеволода. Взметнул Всеволод коня на дыбы и ринулся в самую гущу вражьих воинов, молнией сверкнула его сабля над их головами.

У Святослава онемели руки. Бросился на него сзади степняк, князь перекинул его через себя. Глядь — уже дюжина половцев насаждает. Один упал с разрубленным плечом, второй скорчился, разинув рот в беззвучном кри-

ке, напоровшись на острие меча. Но вдруг от удара сзади брызнули из глаз искры и поплыла земля в туман. И уже не видел Святослав, как дрогнули Ольстиновы ковуи и бросились спасаться в озеро, как Игорь, скакавший их остановить, был захлестнут арканом и сбит с седла...

Очнулся Святослав в скрипучей повозке от боли. Над головой — дырявый полог из козьих шкур, впереди широкая спина половчанина. Мотает телегу по кочкам и рытвинам, мотает и трясет болящее тело. Онемели перекрученные ремнем руки.

Стиснул зубы князь, чтобы стон удержать, да разве в слабости такой с собой совладаешь?

Откинулся полог, глянуло на Святослава плоское скуластое лицо с реденькой, словно выщипанной бородашкой. Оскалилось торжествующе и злобно редкими желтыми зубами. То ханишка завистливый Елдечук радуется дорогой добыче. Не отрекутся русские от своего князя, не посядут на выкуп.

Увозят Святослава к далеким ханским кочевьям, в полон, в неволю.

Тряхнуло повозку — боль прошла искрой по телу. Глядит Святослав на широкую спину половца со страхом и ненавистью: перегрыз бы путы ременные, навалился бы на эти плечи...

Надсадно стонет повозка, слышны крики подгулявших половцев.

Пить хочется. Страсть как хочется пить!

Забылся князь. То леса родные привидятся, в яркую зелень по весне одетые, то полумрак покоев княжеских, то Путята-гуслар на своей рыжей кобыленке. И доносится издали тихий девичий голос:

Лейтесь, слезы горячие,
по лицу по белому,

смойте, слезы горячие,
красу девичью...

И будто половчанка ту песню поет. Нет, другая. Снова пришла она, волхва, что назвалась когда-то его невестой: «Ты будешь искать меня — и не найдешь, будешь ждать — и не дождешься. А я буду всегда с тобой...»

СМЕРТЬ С КОСОЮ ОСТРОЮ

Как душа с телом расставалась, расставалась, сама прочь пошла...

«Совсем я мертв или не совсем? — подумал Самошка, приходя в сознание. — Наверно, совсем. Только душа из меня еще не ушла».

Хотел глаза открыть, да побоялся: вдруг он уже в аду, и черти ему кипящий котел готовят.

Прислушался. Тихо. И почему-то зябко. Приоткрыл один глаз, второй... Огромная, как серебряный щит, луна стоит над полем. Тень какая-то надвинулась на луну.

«Смерть, — подумал Самошка. — За мной пришла».

Прояснилась в памяти вчерашняя сеча. Вот они, чада родимые, рядом полегли, не миновала их судьбинушка.

Тень придвинулась, склонилась над чьим-то телом, пошла на Самошку. Вот она уже рядом. Сколь несправедлива ты, смерть! Всех без разбору косишь. Почто сынов отняла... Не дамся тебе, не подвернусь!

Самошка нащупал топор, вскочил, замахнулся. Увернулась смерть от удара, прыгнула на старика. Барахтается под ней Самошка, кряхтит.

— Врешь, не уйдешь, поганый, — шепчет смерть.

Обида в сердце вскипела: его, православного, так поносят.

— Сама ты поганая! — завизжал старик.

Смерть приподнялась, всмотрелась ему в лицо.

— И впрямь, бороденка у тебя рыльская. Ранен?

— Да кончай скорей, не мотай душу! Погоди, это никак ты, скоморох?

— Про князя нашего не ведаешь?

— А что? Порублен? — Самошка поднялся. — Неужто?

— Может статься, и порублен, — грустно ответил Путята. — Ищу вот...

«Значит, я живой, — подумал Самошка. — А сынов нету. Детки мои! Проснитесь, сынки милые...»

Кто знает, сколько русичей полегло в той жестокой битве. Когда были смяты полки и рассеяны, до ночи метались половцы по степи, окружая малые отряды, арканя одиночек. Несколько тысяч русичей стали в тот день пленниками. Лишь пятнадцати воинам удалось спастись: стонами, проклятиями и слезами были встречены они на Руси. Из княжеского седла в седло невольничье пересели и четыре князя, а с ними пятьдесят воевод.

В Киев прибыли Кончаковы послы с росписью: какой за кого выкуп посылать. И назначили цену непосильную даже за именитых пленников: за Игоря — две тысячи гривен, что равно двадцати пяти пудам серебра или тысяче боевых коней; за других князей — по тысяче гривен, за воевод — по двести. А вся сумма — пятнадцать тысяч гривен — равна годовому доходу шести таких крупных княжеств, как Смоленское, Черниговское, Галицкое... Пол-Руси надо раздеть-разуть, чтобы из плена всех вызволить.

Киевский Святослав Всеволодович хотел было выкупить одного Игоря, но на то не согласились ханы...

У Святослава снова открылась рана на плече, неделю бредил он в горячке в юрте хана Елдечука, а потом лежал безучастный ко всему.

Из Руси приходили недобрые вести. Отпраздновав победу, Кончак со своей ордой ринулся на беззащитные русские города и чуть не взял Переяславль, а потом осадил Римов. Жители, отбивая штурм, сгрудились на городской стене, она рухнула, и половцы ринулись в образовавшийся проход. Жив тогда остался только тот, кто сумел от них скрыться в лесах. Другой хан — Гза — прошел по новгород-северским землям, пожег и разгромил Путивль и многие другие крепости.

Русь вопиет о защите! А что мыслят русские князья? Попробовал было киевский великий князь Святослав Всеволодович объединить их для обороны русских земель, но черниговский князь Ярослав сам послал к Кончаку боярина Ольстина и замирился с ним, а князь смоленский Давыд выступил было против ханов, но вдруг повернул дружину домой.

Такие вести из Руси...

Казалось Святославу, что сам он — капля в потоке событий. А обернулось как? Вовлек он словом и властью сотни своих людей в этот поток и погубил.

Однажды он увидел из юрты диковинных зверей — верблюдов, надменных, с презрительно отвисшей нижней губой. Лениво шагали они, неся на горбах тяжелые ноши. А за ними с рогатками на шеях и связанные попарно, почерневшие от степного солнца, шли пленники — черный люд из Игорева войска, те, за кого не ожидали ханы получить выкуп. Горяча коней, гарцевали по бокам узкоглазые стражники с плетью, выравнивая строй. Угоняли русичей в Тьмутаракань, на невольничий рынок.

Святослав сперва не мог понять, что это за шествие. А как понял — захлебнулся от немого крика. Может быть,

есть среди них и рыльские люди, Самошка, сыновья его... Не в силах видеть такое, забился он на подушках в рыданиях, а перед глазами плыли верблюды с колокольцами на шеях и черные лица невольников. Вот оно — возмездие!

В ту ночь он бежал в степь, в сторону Донца, и когда был пойман, вырывался из крепких рук стражников и просил его убить...

Но он был молод, и молодость брала свое, врачуя рану, возвращая ему силы и надежду.

Святослава и других именитых пленников не неволили особо. Игорь даже попа вытребовал себе из Руси. Жил Игорь в стане самого Кончака и однажды приехал к Святославу — погостить и попечалиться. Всю ночь проговорили они у костра над речкой под соловьиный щебет. Ярославну вспоминали: поди, все глаза проглядела она с путивльской стены, супруга поджидаячи. И о том говорили, что клянут их родичи-князья: решили, мол, одни, без нас добыть победу — вот и казнитесь теперь!

Содеянного не изменишь, гибель войска на их совести. Но и другие правители всяк за себя, не хотят объединить силы против половцев. Сказал Игорь, что замыслил он побег. Воеводы его отговаривают: за то не помилуют степняки других пленников. Но нет другой надежды вернуться на Русь. Кто скажет князьям гневное слово, устыдит, заставит понять, сколь вредна и ужасна их разобщенность?

— Бежим вместе! — просился Святослав, но Игорь уклонился: на полтысячи верст — чужая степь, попробуй убеги. И вскоре уехал.

Нужно мужество победителю, побежденному — вдвойне. Святослав тяготился бездействием и одиночеством.

— Непоправима в жизни только смерть, — твердил он в поисках надежды на спасение.

СОКОЛИНАЯ ОХОТА

На полсвета хватит злобы у хана Елдечука. Кабы его воля — все кочевья к рукам бы прибрал. Да немощен и небогат он против Кончака, Гзы и прочих ханов. Только и мог бить недругов на своем стану в петушинных боях.

Навезли Елдечуку из разных краев диковинных петухов, злобных, как он сам, и в боях искусных. Прозвал он их именами князей и ханов, а гладкого длинношеего черныша своим именем нарек. Выпускает хан черныша против неповоротливого цветастого петуха Кончака. До полусмерти затаскает того черныш. А хан, хищно оскалив редкие зубы, хватает пальцами, будто когтями, воздух и шепчет:

— Так его, так!

Раскосые глаза его посажены слишком близко к переносью, и чудится, что глядит он не на петушиный бой, а на кончик носа.

Водил Елдечук пленного Святослава на такие зрелища. Противно становилось князю, по возможности хворым сказывался.

Вспомнилась ему сказка про воробья, вознесенного в орлы, которую половчанка поведала перед битвой. Оторопь взяла князя, как представил, что половчанка могла стать ханской наложницей — до того страшно это и нелепо...

Родная земля... До боли, до скрежета зубовного гнетет тоска. Хоть бейся головой о камни, хоть зверем вой на всю степь от немощи и бессилия. Даже воздух здесь какой-то чужой, застойный, будто пропах ханскими петухами...

Всюду неотступно следовали за Святославом два мрачных широкогрудых стражника.

Чтобы тоску заглушить, обратился князь к соколиной охоте. Дни пропадает на ней.

Шумят птичьим гомоном степные озера. Валом идут с теплого моря, гнездятся тут гуси, утки, лебеди.

Пустил князь с руки белого кречета — злобную и красивую птицу северную. Пером чист он и гладок, черные глаза, как бусинки. Здесь, в степи, кречету лапы в воде держат: не любит он жары. Но даже норовистая эта птица привыкает к неволе. А человек? А ты, князь?

Легко взмыл в поднебесье острокрылый хищник и сразу ринулся камнем на запоздавшего селезня. Помчался селезень к озерку, но опрокинулся, срезанный острым когтем. А кречет уже подхватил его и тяжело полетел с добычей. Над камышами колыхалась стайка легких утиных перьев.

Снова ушел кречет в подблужье и долго-долго кружил над камышовым озером. На нем суетились утки, в камышах гоготала гусыня, не спеша низко прошли над водой два белых лебедя — даже в полете они горды и неторопливы. Опустились, взбуравив воду, на середину озера и поплыли, тихо курлыкая. Перья у них словно бархатные.

Должно быть, их высматривал кречет. Стрелой просвистел он над первым лебедем, но тут же был отброшен ударом могучих крыльев птицы. Взмыл кверху и снова ринулся на лебедя. Завязался бой. Лебедь быстро и сильно отбивал хищника ребрами крыльев, и не мог кречет пробиться сквозь удары, отлетел прочь, сел прямо на берегу, тяжело дышал и разевал клюв. А лебеди, торжествуя прокурлыкав, поплыли рядом в камыши.

Святослав залюбовался ими. Чем-то напоминали они Ярославну — то ли осанкой своей, то ли спокойной неторопливостью.

Нет, не ее, другую.

Была ли она, эта встреча, не приснилась ли?

Была. Где-то живет на земле девица с глазами как утреннее небо и серебристыми тяжелыми косами. Она ждет князя, она зовет его. Она понимает его тоску, знает о его беде.

Шли дни, было время подумать. Горе и разор принесли они с Игорем своей земле, затеяв несчастный этот поход. Может быть, их просто постигла неудача? Нет! Не русские ли князья развратили половцев и сделали сильными и дерзкими: каждый год призывают их на помощь при ссорах и раздорах.

Вот и сам он мечтает о большом владении, чтобы править единовластным хозяином. А родина? А люди русские?

Он жаждал славы. А обрел — позор. Говорят: мертвые сраму не имут. Неправда, бесславие и после смерти будет при твоём имени, как горб при горбуне. Нельзя отдавать позору Самошку, курян, рыльских воинов, честно погибших. Они взывают к тебе, чтоб ты сказал от их имени. Сказал о русской земле, стонущей от раздоров и половецких набегов, о грызне за власть — постыдной и недостойной.

Он напишет такое послание князьям на Русь, от которого и слепой прозреет.

Несмело, с великими сомнениями взялся он за повествование, и оно увлекло его, заставив забыть обо всем.

Не знал молодой князь, что недолгая жизнь его, позор плена и доводившая до сумасшествия тоска — все это было подготовкой к тому творению, которое по строкам и фразам начало складываться в горькую и гневную песнь.

Она осветит судьбу Руси и просторы времени мгновенным сиянием, подобным вспышке молнии.

ПЕСНЯ СКОРБИ И ГНЕВА

Прекрасен дар бунтарей и поэтов, заставляющий их ощущать чужое страдание острее своего. Прекрасен дар воображения, что устремляет человека в иные времена и дали, помогая заново пережить невозвратимое. Таков был Боян, умевший взором души увидеть границы времен. Его взял в поводыри и учителя Святослав, когда старательно вывел на сером листе пергамента угловатые буквы: «Слово о полку Игореве, сына Святославля, внука Ольгова».

Не время ли, братия,
Начать старинным ладом
Горькую повесть о походе Игоря,
Игоря Святославича.

Он словно сам прислушивался к музыкальному звучанию речи. Еще не ясны пространства будущей песни, но знал он, что это будет повесть о русской земле, о курянах, о мужестве и о терзающих родину раздорах.

Боян бо вещей,
Если кому хотел песнь творить,
Растекался мыслию по древу,
Серым волком по земле,
Сизым орлом под облаком.
Помнил, говаривал, первых времен усобицы.
И тогда пускал он десять соколов...

И тогда... Начались те раздоры после кончины Старого Владимира-крестителя, и зловещей стала судьба двенадцати его сынов. Любимый сын Борис был убит наемными варягами, Глеб зарезан, Святослав древлянский бежал к чехам и убит там, Судислав по доносу просидел в порубе двадцать четыре года, Святополк Окаянный, погубивший братьев, лишился ума и погиб у ляхов.

И другие сыны погибли без славы. На крови братьев возвысился самый хитрый из них — Ярослав Мудрый. С тех давних лет, как подземный огонь, тлеет в княжьих теремах жажда власти и ненависть, то здесь, то там прорываясь огненными вихрями, пожирающими города и людей.

Начнем же повесть сию
От Старого Владимира до нынешнего Игоря...

Страх, надежда и смятение боролись в юном сердце: сумеет ли он осилить замысленное? У каждого возраста своя вера и религия. Святославу была еще чужда спокойная усмешка старых людей. Он жил порывом и верил в силу убеждения, в добрые помыслы людей, с которыми был связан. Проклят будет тот день, когда потеряет он эту веру и станет похож на того диковинного верблюда с колокольцем на шее, к хвосту которого были привязаны пленники — надменного и все презирающего.

Жизнь есть деяние, и слово — деяние, оно пробудит волю в других и подвигнет их к действию.

Вновь и вновь возвращала его память к минувшим событиям, питая воображение. И менялся бег времени, дни были наполнены смыслом, и сердце умывалось радостью, когда находились нужные слова и ложились на пергамент ровными строками.

Дремлет в поле Олегово храброе гнездо.
Далече залетело.
Не было оно порождено обиде —
Ни соколу, ни кречету,
Ни тебе, черный ворон — поганый половчанин.

Святослав выходил в лунную степь, и, как тени, следовали за ним два стражника. Они были суетливы, доб-

родушны, он подружился с ними. И казалось странным: они — его враги и враги его родины. Нет, они тоже песчинки в вихре событий.

— Убиваешься чем, почему носишь раскаленный уголь в сердце? — ворчал рослый стражник.

— Силу удара знает не тот, кто его нанес, а кто его принял, — ответил Святослав. Он знал силу удара, нанесенного Кончаком его родине.

Тлеют пожаров кровавые зори,
Черные тучи с моря идут,
Хотят прикрыть четыре солнца.
В них трепещут синие молнии.
Быть грому великому,
Идти дождю стрелами!
Тут копьям сломиться,
Мечам притупиться
У быстрой Каялы о шлемы поганных...
Родная земля, ты уже за курганом...

Есть исток у реки и у народа. Летописи начинают историю Руси с принятия христианства, словно не было у народа истории, не было нашествий гуннов, обров и печенегов. Он расскажет и об истоках Руси, о ее богах и сказаниях. Но приходило сомнение: тверда ли вера его? Не кощунствует ли он, обращаясь к языческим божествам? Легенды о них уносили в детство Руси — загадочное, дикое и красивое.

У лесных вятичей есть поверье: у человека четыре души. Одна по смерти обернется птицей, другая — в подземного зверя, третья — в зверя лесного. Но самая главная душа, что покидает нас во сне и бродит по белу свету, растворится в ветре, луче солнца, во всей природе. И он, сын своей земли, внук Даждьбога и Велеса, и душа жизни, заключенная в нем, бунтует против пут православия, всюду видящего грех и кощунство. Самый

большой грех — братоубийство, а к нему-то и привыкли на Руси.

Искал Святослав нужные строки, переделывал рукопись, стремясь к одному — чтобы повесть была наполнена взрывной силой, высоким подвигом и печалью. Он звал, уговаривал, требовал, обвинял.

Но вдруг порыв опять сменялся отчаянием и глухой тоской: кто услышит его, кому нужна его песня среди крысиной возни? Он чувствовал, что не может постигнуть чего-то главного, не дано ему Боянова прозренья.

Однажды ввалился в его юрту разъяренный Елдечук: Игорь бежал из плена.

Снова затеплилась надежда. Но сумеет ли Игорь убедить спесивых князей, да и соберут ли они при их корысти пятнадцать тысяч гривен, чтоб выкупить остальных пленников? И на большой поход в степь вряд ли теперь отважатся. Не к ним — к самой родине надо взывать.

Родина всегда связана с именем женщины, матери или любимой. И представил Святослав: не своею волею замыслил побег Игорь, его позвал голос родины, голос Ярославны.

О ветер-ветрило!
Зачем ты так сильно веешь,
Зачем несешь ты на легких крыльях своих
Ханские стрелы на воинов лады..
Зачем, господине,
Радость мою по ковыли развеял?..

Вот чего не хватало в его повести: чтоб женщина обращалась с мольбою не к людям, не к богу — к солнцу, ветру, Днепру, к русской природе самой и ее божествам.

Светлое и ласковое солнце,
Для всех несешь ты тепло и негу,
Зачем, господине,
Ты простерло жаркие лучи свои

На воинов лады?
В безводной степи
Жаждой стянуло им луки,
Колчаны закрыло бессильем...

И слезы ее растопили камень, и тогда...

— Море взыграло в полночь,
Идут смерчи мглами,
Игорю бог указывает путь
Из земли половецкой на землю русскую...

ПУТНИКИ

Трижды крикнул петух. Крикнул, прохлопал рыжими крыльями и потянул привязанный к ноге шнур. Серdito квокнул, скосил глаза на спящих у потухшего костра людей.

Один из них завозился, поежился, встал.

— Али Саиб приветствует тебя, кочет, — воскликнул человек. — Ты прав: сон приятен, но зачем отдавать ему лишние мгновения жизни. Сохраним их для глаз и ушей своих. Жизнь коротка, а наш путь бесконечен.

Было свежо. Далеко-далеко в тесной щели меж краем степи и темной тучей пламенел восход. Ночь уходила, хоронилась в притихшие ковыли. Недалеко паслись стреноженные кони, спины их были влажны от росы.

Человек потянулся, сбрасывая остатки сна. Навалил в костер сухой травы, стал раздувать золу. Заклубился желтый дымок, языки пламени заметались на стеблях.

Человек придвинул кожаную сумку, достал хлеб и мясо. Ломоть хлеба бросил петуху.

Человек откусывал хлеб и мясо, медленно жевал. Петух жадно клевал ломоть.

Из-за тучи выглянул гребешок солнца. Он зажег золотом край тучи, золотые нити лучей уперлись в небесную высь. Встревоженно фыркнул ближний конь и запрядал ушами. Налетел ветер, зашуршали, заколыхались травы.

Поднялся другой путник, высокий белобородый старик.

— Вставай, кузнец, — толкнул он спящего товарища.

Тот разом сел, потряс головой и протер глаза. Вздвигая от холода, придвинулся к костру, сунув руки почти в огонь.

— Далеко еще?

— В Киеве говорят: накорми, напои, в бане помой, а потом выпрашивай, — ответил Али Саиб и отрезал спутникам хлеба и мяса. Высокий не притронулся к еде, а маленький стал есть торопливо и жадно.

— Занятный ты человек, — сказал маленький, откусывая от ломтя. — Говоришь, всю землю насквозь прошел. А вот скажи: который народ лучше живет?

— Ты хочешь знать, где я был и что видел? Слушай. Я перс, хотя родом из Бухары. Волны случая носят меня по океану горестей. У вас на Руси говорят лучше: везде попадаю я, как кур в ощи́п. Плавал я на венецианских галерах, прикованный цепью к веслу, торговал у арабов, был невольником в болгарской земле, ездил в дружине русских князей. Если где и не был, то забыл где. Всюду одно: если б был у горя дым, как у огня, — мир бы дымом был наполнен вечно, а если бы радость могла растекаться рекой — она потопила бы землю.

— Как по писаному сыплет, — подтолкнул маленький высокого. — Куда до него нашим скоморохам! Учись, гулярь!

Перс откинул голову, обхватил руками колени. Глаза были полужакрыты:

Долго я шел, но не видел конца земли.
Много узнал, но всего узнать не дано.
Разные люди живут под небом одним.
Разные песни поют на своих языках.
Есть племена — у них лица от солнца черны.
Есть племена — у них лица от снега белы.
Зачем же их разными создал творец?
Зачем же он дал им сердце одно?
Сердце одно и землю одну.
Она велика — но тесно людям на ней.
Небо обширно — но тесно людям под ним.
Сердце мало — но тесно ему в груди.
Смири свое сердце — и будешь спокоен и мудр.

Высокий слушал, забрав в кулак бороду. Пожевал губами, хмыкнул:

— Сердце смири, говоришь? А коли не смиряется оно? Поведаю тебе притчу. Про себя. Был я дружинником княжым. Может быть, слышали о Прокоше Олексиче? Меня так прозывали прежде. И вот говорят Прокоше: «Не по правде живешь, мечом погибель творишь человекам». Закопал Прокоша свой меч, стал землю пахать. Ему говорят: «Не по правде живешь, о спасении души не мыслишь». Бросил Прокоша орало, взвалил котомку на плечи и пошел с монахами ко гробу господню на поклонение. Жил подаянием, плоть умирал молитвами да к смирению, как ты же, людей призывал. И таким добрым и хорошим себе казался, что лучше его человека нет. А вернулся — узнал: жена и детишки от голода умерли. И подумал Прокоша: «Не смирением ли семью свою загубил?» И не стало ему ничего горше смирения.

— Чего ты ему толкуешь, — вмешался маленький, — он же заморский, где ему нутро наше понять.

Он вытер руки полрой рубахи, как баба передником.

— Бойся, перс, своего смирения, — снова заговорил высокий. — От него сердце заплывает жиром и становится тугим и сытым, как боярское брюхо. Ему дела нет

до того, что творится на свете. Сердце тоже в голоде надо держать, чтобы оно на беду и веселье, как струна, отзывалось. На то человеки мы. А человек в народе не капля. Он — родник. Сколько ты видел людей, и сколько их прошло сквозь твои странствия, но каждый свой след в тебе оставил.

Долго еще сидели они у потухшего костра: двое русских и перс. Ветер колыхал травы. Разгуливал, охотился за кузнечиками рыжий петух, привязанный бечевкой за ногу.

Были теми путниками Путята и Самошка, а с ними перс Али Саиб, купец, знающий половецкий говор и имеющий охранные грамоты и право торговать у кочевников. А поспешали они с доброй вестью вслед за русскими послами, что гостили сейчас у Кончака. Игорь, вернувшись на родину, совершил невозможное: раскошелились князья на выкуп именитых пленников. И не только они — купцы и смерды, весь народ русский жертвовал на доброе дело все, что мог: серебро, меха, драгоценности. И поспешали сейчас Путята и Самошка к Елдечуку, чтобы не чинил хан препятствий и немедленно отпустил на родину Святослава и рыльских воевод и воинов.

Прошлой весной после битвы еле добрались они до русских веж. Шли ночами, днем хоронясь в оврагах и зарослях. Однажды, заведев конников, влезли в волчью нору, прорытую в кургане. Протиснулся Самошка первым в нору и оказался в комнатке, стены которой были выложены серым камнем. Пахло в ней сыростью и волчьей шерстью. Рука Самошки наткнулась на человеческий череп, он закричал и стал выбираться обратно. Но перебороло любопытство, и когда они вместе забрались в логово и засветили огонек, увидели присыпанный землею скелет, конский череп в углу, потускневшее оружие, тусклые бляшки и украшения, позеленевший щит. Скиф-

ская могила! Нет большего кощунства, чем осквернить могилу предка! Ничего тогда они не тронули, одну маленькую фигурку птицы Самошка сунул за пазуху. Уже в пути рассмотрел ее и оттер рукавом — узорная чеканка сверкнула золотым блеском.

А теперь они взяли грех на душу, разорили скифский могильник, наполнив золотыми украшениями торбу, и за то будет их преследовать вечное проклятье. Но ведь на доброе дело взяты сокровища, на выкуп своих людей!..

ДОМОЙ!

Хан Елдечук был раздражен и зол: сказали ему, что велит хан Кончак отпустить именитого пленника, обещав за то долю выкупа. Велика ли та доля? А пленник лежит в юрте почти бездыханный, мается кашлем и не пьет кумыс. А вдруг совсем угаснет — не видать тогда выкупа.

И вот сидят в его ханской юрте три гостя, два русских и иноземный купец, умеющий говорить красиво и цветасто.

Говорит он, что его земля лежит далеко на востоке и зовется царством хорезмским, что тамошний шах, сильный и богатый владыка, желает с ним, Елдечуком, вести торг и мену. Приятна хану такая речь. А еще есть при госте рыжий петух, которого хотел бы он в бою испробовать. Хан не может скрыть радости и торжества: у него ли нет бойцовых петухов? Повелел принести черного, названного его именем.

Перс пустил на ковер своего рыжего, подбросив ему

щепоть зерен. Растрепанный петушина склевал их с жадностью, словно неделю не кормленный. И увидел, что возле двух несклеванных зернышек стоит чужой черный петух. Налетел на него, сшиб и угнал с ковра. Но черный петух Елдечук, оправившись, кинулся на обидчика и вцепился ему в мясистый гребень. Рыжий вывернулся и с такой яростью набросился на соперника, клевал и бил крыльями, что тот забился под ханские ноги. Хан схватил черныша за голову и выбросил из юрты. Он сопел и молча пил кумыс.

Иноземный гость поспешил сказать, что дарит достойному хану своего петуха. Но и после этого Елдечук не скоро остыл и успокоился.

Гости заговорили о пленниках. Много их у хана, не считал сколько. Белобородый принес суму и вывалил к ногам хана золотые древние украшения, чашу и блюдо с диковинными рисунками, гребень с золотой головой оленя... Перс сморщился, как при внезапной зубной боли, и отвернулся, чтобы не видеть. Хан подгреб к себе сокровища, у него дрожали руки. За это богатство он отдаст и пленников, и жен своих, и все, что ни потребуют эти неумные гости, не знающие цену древнему скифскому золоту! Он напоит их до беспамятства пьяным кумысом, чтоб не передумали.

Но гости не захотели его слушать, потребовали снарядить в дорогу князя и всех русских, что живут в его кочевьях, привести к ним.

С рассветом толпы измученных и оборванных русичей двинулись по степи на север, кто на коне, кто пеший, а кого и на руках несли.

...Парили Святослава истово, в две руки.

Для лучшего прогрева добавил Путята в свежие бе-

резовые веники крапивки да по мягкой липовой ветке. И затомил их в трех пахучих настоях. Банька тесна и низковата, повернуться негде. Стены черны от копоти. Но какая бы она ни была, все равно — баня.

Жару нагнали — грудь разрывает,дохнуть нельзя. Как вошел Святослав, дух у него захватило, по телу озноб, как с мороза, прошел. И сразу приятно заныла поясница, охватила истома. Плеснул Путята на низкую каменку ковш мятного настоя. С шипением рванулось облако от раскаленных камней, разбилось о потолок и растаяло. Еще плеснул, еще, потом стены веником окропил. Мягче стал пар и влажнее, густо запахло мятой.

Святославу приказали на полок забраться. Да как начали с прихлестом обхаживать вениками болящее тело! Будто насквозь, до костей пробирает жар. Князь только кряхтит и охает, ослаб сразу.

А Самошка обмотал голову бабьим платком, на руку рукавицу надел. Нагой совсем мальчишкой кажется — все ребра на виду. То князя похлещет, то себя.

Не помнит Святослав, как вышел в темный предбанник, опустился на низкую скамью и навалился на столб. Вдохнул свежий воздух — и словно омыло грудь изнутри этой свежестью. Непривычно легким стало тело, будто родился заново. Сердце стучало гулко и часто.

«А ведь я на Руси, — подумалось князю. — Дома!»

После семи дней пути достигли они наконец первого сторожевого городка, наполовину погоревшего, с разваленными сторожевыми башенками. Увидели стражники полутысячную толпу издали и подняли тревогу. Долго пленникам пришлось объяснять, кто они и откуда.

Но, пожалуй, только сейчас до конца понял Святослав, что он снова на родине, словно без этой покосившейся черной баньки неполно было представление о ней.

Вспомнилось, как читал когда-то в летописи о путе-

шествии апостола Андрея по Руси. Пришел тот к новгородцам и дивился обычаю их. Будто бы так рассказывал: пережгут они бани румяно, сволокут одежды и будут наги. Возьмут прутье свежее и хвощутся так, что вылезут еле живы. Обольются квасом студеным — и тогда оживут. И то творят во все дни, никем не мучимы, сами себя истязают.

Святослав засмеялся. Кошунство судить так о святом апостоле, но не понял он русскую душу.

Жадно вдыхал князь вечернюю прохладу, закрыл глаза, откинувшись к стене. Хотелось петь, кричать, позвать Путятю и Самошку. Дома! На отчей земле!

А Путятя с Самошкой, неустанно нагоняя жару, отчаянно нахлестывали себя вениками. Самошка выскочил во двор, поднял бадью воды из колодца, опрокинул на себя и снова нырнул в клубы пара, захлопнув за собой дверь.

Но наконец и он не выдержал. Сполз на пол, положил под голову веник и простонал:

— Дверь отвори. Худо мне.

Серый поток пара рванулся в предбанник.

Полежал кузнец, попросил закрыть дверь. Сел. И опять полез на пол.

— Поддай еще.

— Не хватит ли?

— Поддай, говорю! — сердито крикнул Самошка.

После бани хозяйка угощала гостей кислым квасом. Подоспел и поджаристый рыбный пирог.

На пирог налегал только Али Саиб, остальные, размоленные и сомлевшие, утирали полотенцами потные лбы и отхлебывали густой пахучий квас. Приятно кружило голову, необычайная легкость была во всем теле.

Али Саиб, как всегда, рассказывал.

Он собрался в дорогу — в Бухару. Много раз брал он

посох странствий, отправлялся в путь на родину — и всегда оказывался еще дальше от нее. Но теперь он дойдет непременно. Пусть не удерживает его князь: даже птица летит по весне туда, где было ее гнездо. И ему, Али Саибу, настало время отряхнуть дорожную пыль с плаща у крыльца белого домика в тени маслин. Может быть, домик рухнул от старости, а маслины высохли от печали. Ничто не вечно на этом свете.

— Вы, русины, дети, — рассуждал перс, — не долговек вашего народа от рождения. По-детски деретесь, не зная причины к драке, по-детски миритесь, не умея хранить обиду. Мы, персы, прожили тысячелетия и успели состариться. Время научило нас жестокости. Научило не видеть горя друга и не искать справедливости во дворце властелина.

— Ты — князь, — обратился он к Святославу, — и хочешь быть справедливым для всех. Так не бывает. Был у султана Мухаммеда звездочет и мудрец Абу-Рейхан Бируни. Сказал ему однажды султан: «Ты знаешь всё. Скажи, через какую из четырех дверей я выйду из дворца? Запиши свое решение и положи под подушку моего ложа». Бируни сделал это. Тогда приказал Мухаммед пробить в стене пятую дверь, через нее вышел и велел подать запись мудреца. В ней говорилось: «Ты не выйдешь ни в одну из четырех дверей и сделаешь пятую». Султан во гневе приказал выбросить звездочета из окна. Но во дворе было натянуто покрывало, и Бируни, упав на него, остался невредим. Тогда султан спросил его: «И это ты предвидел?». Бируни подал ему свиток, сказав, что писал на нем еще утром. Там было написано: «Кончится тем, что султан выбросит меня из окна, но ничего со мной не будет». Султан пришел в смятение и ярость. Он приказал бросить дерзкого звездочета в тюрьму. Цари не любят, когда им говорят правду. Сила и

мудрость — всегда враги. Ум и богатство, они — как нарцисс и роза: вместе не цветут.

— У тебя доброе сердце и отравленный разум, Али Саиб, — сказал Святослав. Он разозлился, начал волноваться. — Для чего ты мне говоришь все это? Ведь я тоже властелин, хотя и не столь великий. Жестокая у тебя правда, от нее белый свет не мил. Лучше уж жить закрыв глаза, но во всю грудь дыша, чем так, обрастая мохом неверия.

ЛЕГЕНДА О БОЯНЕ

Свой секрет у всякого ремесла. Не станет возводить храм строитель, пока не создаст его в своем воображении. Гончар видит кувшин до того, как возьмет в руки глину. Есть народы, где дают имя сыну, когда создаст он первое свое изделие — вылепит кувшин или скует подкову. И этот день считают днем рождения мастера.

А что есть мастерство словесное? Удивлением и восторгом жил Путята, прочитав написанную князем повесть: откуда взял он эти слова, что прожигают душу огнем?

...А кровавого там не хватило вина,
Пир там закончили храбрые русичи:
Сватов напоили, а сами
Все легли за русскую землю...

На Немиге-реке
Снопы стелют головами,
...На ток жизни бросают, веют души от тел...

...Князь, дружину твою
Птицы крыльями приодели,
Звери кровь полизали...

Разные битвы описаны и каждая по-своему. А плач Ярославны? Слезу и гнев вызывает он.

Несколько раз переписал Святослав «Слово о полку Игореве», отослал его нарочными гонцами в Киев, Чернигов, Смоленск, Галич. И жил нетерпением: что ответят князья?

Как за малым дитем, ухаживал за ним Путята, называл его великим, подобным Бояну.

— Что ты знаешь о Бояне? — досадовал Святослав.

— А вот и знаю. Жил во времена досельные и был слеп. Ходил по селам и кормился песнями, какие знал. Встретился ему однажды древний старец, то ли сто ему лет, то ли тысяча.

— Не рад я жизни, — зажалобился ему Боян, — в очах темна ночь.

— Прозреешь ты, отрок, и будет взор твой острее орлиного, — ответил старец.

— Откуда тебе знать?

— А я все знаю: где солнце ночует, и который камень всем камням отец, сколько народов на свете живет и сколько трав на земле цветет. Потому и зовусь Ведуном.

Дал он Бояну гусли — вещие струны и сказал:

— Не снимай их с плеча, пока не прозреешь.

И пропал. Сколько ни звал его Боян — не откликнулся.

Долго странствовал Боян по свету, но как был слеп — так и остался. Однажды шел он по лесной тропе, день идет, два идет, а тропка все выше и выше в гору вьется. На третий день пахнул на него ветер подоблачный и тучка в ногах заплелась.

Остановился Боян, сел на камень, закручинился: нету дальше ему пути.

— Где я?

И отвечает ему Ведунов голос:

— На Ведуновой горе.

— Эх, Ведун, — укорил его слепец. — Зачем обманул
и меня? Уж я сед, а в глазах та же ночь темная.

И сказал Ведун:

— Сбрось пелену с глаз невидящих и посмотри. Ви-
дишь землю отцов твоих?

Открыл веки Боян и вдруг увидел вдали Киев-град,
башни сторожевые, Десятинный храм в двадцать пять
золоченых куполов. На реке невод рыбаки тянут, а в нем
рыба кипит и серебром переливается. Босоногие бабы,
подолы к поясу подобрал, белье полощут, а вокруг ребя-
тишки плещутся.

— Вижу! — закричал Боян и понял вдруг, что слеп
он по-прежнему. — Ведун, — заплакал он, — зачем ты об-
манул меня?

Поднял он гусли — вещие струны и хотел разбить о
камень. Но запели струны, и услышал он голос Ведуна:

— Теперь ты прозрел внутренними очами своими.
Другие люди видят только то, на что смотрят, а перед
твоим взором откроются тайны земные и небесные. Возь-
ми гусли и сказывай людям под их рокот про то, что ви-
дишь очами души...

Святослав хохотал:

— Слышал ты звон, да не знаешь где он. Все это не-
правда. Не был Боян слеп и ходил он при дружине пра-
деда моего Олега Гориславича, и дано ему было село
во владение под Черниговом.

— Может, о другом Бояне рассказ, — сомневался Пу-
тыта.

— Один он был, один, и не дано никому достичь его
величия!

— Не знаю. Только твой сказ выше всех Боянов.
Есть у персов злое присловье: человек, обидевший вла-
деющего пером, падет и станет горбатым. Удар меча ос-

тавляет рубец, удар слова сокрушает. И ты сокрушил тех, кто прикидывается радетедем за родную землю.

— Будет ли от того польза?

— Будет!

В ЛОВЧЕЙ ИЗБЕ

Ноша плечи гнет, неволя — душу. Сломил боярин Ольстин гордыню невольницы.

Повелел отвезти ее в ловчую избу, в охотничью свою вотчину, чтобы скрыть от глаз ревнивой супруги. Приставлен был к половчанке верный слуга — боярский медвежатник Миха.

Страшен он видом. Вышиб проворный медведь рога-тину из его рук и подмял. Спасибо, сам боярин с топором подоспел, а то бы совсем несдобровать. С тех пор и ходит Миха вбок согнувшись, будто подломленный.

Равнодушно выслушал Миха от челядинцев Ольсти-нов наказ не спускать глаз с невольницы. Не впервой быть ему свидетелем боярских утех.

Только и сказал:

— Басурманка, стало быть. Ничего, привыкнет. Медведь на что лют, а и тот под батогом на бочке пляшет.

Половчанка стояла перед ним ни жива ни мертва.

— В избе приберешь, щи сготовишь, корову подо-ишь, — тут же приказал он ей, повернулся и заковылял под горку в лес.

Ловчая изба совсем не похожа на избу. На пригорке стоял светлый, будто игрушечный, теремок. Рядом рос корявый дуплистый дуб, из-под которого струился ключ.

Половчанке была отведена светлица на два окна.

Вскоре нагрянул боярин с разудалыми молодцами. Во дворе храпели кони, грызлись и лаяли собаки.

Ольстин распахнул ногой дверь, ввалился в избу. Он был в легком кафтане с вытканными на белой парче полумесяцами.

Половчанка бросилась ему в ноги:

— Продай меня князю! Пусти ко князю!

Боярин рассвирепел, сорвал с нее одежды и начал хлестать ее нагую ременной плетью.

Не так от боли, как от позора, кричала и билась пленница.

Боярин тотчас же ускакал со всею свитой.

Половчанка слегла в горячке. Миха поил ее настоем трав и шептал заклинанья.

— Хворь-хворота, поди с моего тела во чисто поле, в зеленые луга, гуляй с ветрами, с буйными вихрями; там жить добро, работать легко, в чем застал, в том и сужу.

Половчанка стала поправляться. Она осунулась, похудела, с тоской смотрела на лес, обступивший двор. Ей было страшно в этом лесу. Чудилось, что за темной хвоей хоронятся страшные дивы, кривоногие и лохматые.

Миха то исчезал на несколько дней, то ходил за ней по пятам, обучал русскому говору, болтал без умолку, хотя она мало что понимала в его речи:

— Есть, к примеру, плакун-трава. Она слезой наливается, когда солнце тучей прикроется. Есть осина-дерево, колдунова напасть. Колдуну на могиле вобьют осиновый кол, значит он из той могилы не встанет. Потому и трепещет осина в безветрие, что колдунова душа под ней ворочается. А есть кукушка-птица, бездомная девица. Полюбилась она соколу степному. Да не смогли жить в согласии: соколу степная ширь надобна, а кукушке дремучий лес. Улетел сокол в свои края, а кукушка оста-

лась в лесу век вековать. Так и живет — ни вдова, ни невеста, ни мужняя жена.

Иногда наезжал боярин. Невольница трепетала под его свирепым взглядом. Он заставлял ее подавать кушанья, петь половецкие песни. Захмелев, подставлял толстую ногу в узорном сафьяновом сапоге, и она покорно разувала его.

Миха уходил к старому дуплистому дубу у ключа и всю ночь молился:

— Перун, высокий боже! Великий и страшный, ходящий в гору, возводящий облака и ветры от полуденных краев, призывающий воду морскую, сотворяющий молнию и повелевающий дождям омыть лицо земли, производящий нам хлеб и снесь и траву скотам, исторгни гнев свой на мою голову, покарай меня за недобрые помыслы!

Когда отъезжал боярин, Миха зло обзывал половчанку чернорожей басурманкой, заставлял целый день работать, грозил побоями.

Как-то затеял он разговор о том, что в лесу есть тропинки и приведут они куда захочешь. Конечно, если одна она пойдет, то сгинет.

Половчанка удивленно глянула на него и ответила:

— Некуда мне идти. Рабыня я.

Миха озлился, хлопнул дверью. Несколько дней пропадал в лесу, но вернулся без добычи.

Жила половчанка как в полусне, безропотно делала тяжелую непривычную работу, покорно слушала Михину ругань.

Вспоминала о князе. Но все это было в прошлом — и степь и князь. Это была сказка, которая не повторится. Половчанка мечтала, что придет князь и вызволит ее. Но не верила, что так может случиться.

От боярина прискакал гонец. Привез половецкое дорогое платье и велел невольнице одеваться и ехать с ним.

Бледный, взъерошенный вбежал Миха в ее светлицу, бросился в ноги:

— Не ездил! Уйдем в лес. Вместе уйдем, не найдет нас боярин.

Скрипнули ступени крыльца, тяжелые шаги послышались в сенях. Миха вздрогнул и боком, неловко ковыляя, пошел прочь.

Когда половчанка и гонец были уже далеко от ловчей избы, над лесом взвился клуб дыма. Светлый игрушечный теремок пылал, как свеча.

ГНЕВ ЕПИСКОПА

Самая нетерпимая из властей — власть духовная. Уже два века торжествует на Руси православие, искореня пыткой и проповедью языческий дух и обычаи, утверждая несокрушимость церкви и божьего слова.

Владыка Черниговский и Рязанский Порфирий был тощ, черен и упрям. Был сластолюбом в молодости, а теперь, ослабев телом, видел корень еретизма и смут в женщинах. И потому писал в поучениях: «Искони беспрельстил жену, она же мужа своего; волхвуют жены чародейством, и отравою, и иными бесовскими кознями»...

Трудно для понимания слово божье. И саму церковь терзают споры и еретические смуты. А пуще всего корысть разъедает. На памяти Порфирия Ростовский епископ возгласил: «На все господни праздники, будь они в среду и пятницу, не есть мяса, а есть его только в пасхальную неделю». В Грецию пошел доказывать свою правоту, но духовными отцами при императоре Мануиле был обличен в ереси и после утоплен.

Сменивший его епископ Феодор, «величественный, как дуб», возомнил себя пророком. Обуянный жадностью и властолюбием, брил бороды и головы игуменам и монахам, резал простолюдинам уши, выжигал глаза и женщин живыми варил в котлах, чтоб завладеть их добром. Запер во Владимире все храмы божьи. А когда предстал перед духовным судом, велел митрополит за то, что «еретик злословил богоматерь», отрезать ему язык, выколоть глаза и отрезать правую руку. Смиловившись потом, и был привязан Феодору жернов на шею, и упокоился он на дне Днепра.

Таковы церковные дела. И пока спорят пастыри, делают веру и доходы, возрождаются на Руси древние обряды и обычаи. Срублено языческое древо, да не выкорчевано, и живучи его корни. Не прискорбно ли, что на фреске в святой Софии рисованы скоморохи и дудошники, что всюду правят языческие праздники...

И захлестнуло епископу дыхание, когда прочел он сочинение «Слово о полку Игореве», присланное ему князем Ярославом. Такое было у него чувство, что обрушит на него сейчас господь свой гнев за то, что раскрыл он сии страницы. Еще никто на его памяти не замахивался так на беспрекословность веры. Сочинитель воскресил языческих духов Карну и Жлю, деву Обиду, что машет лебедиными крыльями на море, а человек не от Адама род ведет, он — внук Дажьбога и Велеса. И не к богу вызывает Игорева жена Ярославна — к солнцу, ветру и Днепру...

Когда прошел порыв гнева, предался епископ спокойному размышлению, и еще большая растерянность вселилась в него. Как зерно хранит будущий колос, так «Слово» рыльского князя вместило в себя суть еретизма и язычества. И посеянное в души, даст оно всход и колос.

Есть высшее словесное колдовство, Порфирий сам растроган горькой повестью, сам проникся болью и состраданием к родной земле — это и страшно. Благородна цель — защита от недруга, но нанес автор удар самой княжей власти, раскрыв ее бессилие. Путь Руси — не путь славы, а позора и крови, не могуча она, а разорена вконец и бессильна...

Страшно было владыке, горькая правота сочинителя проникла и в него, и от этого пуще нарастал гнев. Попробовал он пером вытравить из сочинения языческий дух, заменяя языческие имена: «И встал диавол в силах Адамова внука, тряхнул хвостом на море у синего Дона»... Смешно получается.

— Сжечь и предать анафеме злокозненное сочинение!

И решив поговорить о том с князем Ярославом, сел писать митрополиту.

А в Чернигове, на Ярославовом дворе были выставлены столы, и сам князь после удачной охоты сидел хмелен в окружении бояр и челяди. Наседал князь на Ольстина:

— Где ты прячешь свою полонянку? Приведи, покажи народу.

И как ни сопротивлялся Ольстин, пришлось ему послать за пленницей. Гости восторженно зашумели, когда привели половчанку: была в ней особая дикая красота и грация. У князя глаза вспыхнули недобрым блеском, сам подошел к ней, взял за плечи, усадил с собою рядом. Ольстин, чуя, что дал промашку, ерзал на лавке.

Пришел запоздавший боярин и сказал, что на торжище какой-то гусяр новую былинку поет — жалостливую, про Ярославова племянника Игоря.

— Припевок хотим! — заорал Ольстин.

Привели по указанию князя высокого гусяра, заросшего бородой. Выпил он поднесенную ему чашу и утер-

ся рукавом. Степенно и не спеша начал он свой сказ. Князь не слушал, обнимая половчанку, а она впилась в гусяра глазами и дрожала.

То не буря соколов
Занесла через поля широкие,
Галочки стада бегут к Дону великому...

Еще сильнее ерзал Ольстин на лавке, не зная, как отвлечь Ярослава.

— Не слушаешь ты, князь, как в сей былине тебя поносят. «А уж не вижу я власти брата моего Ярослава», — вот как про тебя сказано.

Князь пьяно потряс головой:

— Кто не видит моей власти? Ты не видишь? — двинулся он на гусяра. — Да я тебя!..

Когда появился на княжьем дворе епископ со свитой, Ярослав бил по столу кулаками и вопил:

— В поруб старика, на дыбу! Всех — на дыбу!

Стражники скрутили гусяру руки. Половчанка отбивала его у слуг, молила:

— Где он, мой князь, жив он? Пусть он меня вызволит!..

Гусяра поволокли за терем, и она, цепляясь за слуг, бежала следом.

Ольстин зачерпнул ковшом хмельного меду, выпил, не отрываясь, и рухнул на скамью. Сознание мутилось, он пьяно икал и всхлипывал.

Опамятовался, когда тронул его за плечо бледный, как снег, дружинник.

— Невольница... убилась...

Ольстин схватил его за грудки, отбросил и выбежал...

Сказано: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением».

СМЯТЕНИЕ

За всякими заботами позабыл князь о Самошке. Увидел его однажды сидящим возле кузни — не узнать старика: почернел, ссутулился. В кузне хозяйствовала теперь Агафья, делала нехитрые работы, а сам кузнец и к мехам не подходил.

— Жить неохота, — пожаловался он Святославу. — Посмотрю вокруг, сынов вспомню, и душа собакой воет. Уйти бы куда-нибудь, но разве от себя убежишь?

Чем старика утешить? Подумал Святослав о том, что пора сзывать плотников, чтоб подновили стены крепости, и сказал Самошке, что поручает ему быть артельщиком. Кузнец безучастно согласился.

За дело взялся он горячо, собрал мужиков, указал что и как, покричал на Агафью, таскавшую бревна. Но через неделю поостыл, притих, ходил по стройке хмур и молчалив. Плотники стали обращаться за советом к Агафье, и незаметно она стала главой артели.

Стена получилась кривой. Агафья принародно пала князю в ноги, а Самошка хмуро сказал:

— Прости нас, князь, и отпусти за ради бога куда-нибудь на чужую сторонушку. Тоска душу прожгла.

Ушли Самошка с Агафьей среди ночи, бросив открытыми дом и кузню, ни с кем не простившись.

Сказывали случайные люди, что видели их в Суздале просящими подаяние...

И от Путяты никаких новостей.

Святослав жил нетерпением: как откликнутся князя на его «Слово». Не знал еще, что князьки терема растревожены как улы, спорят о нем, клянут и возвышают.

Нежданно прибыл важный монах от епископа Порфирия. Стал он обвинять Святослава в смертном грехе ересь, отступничестве, грозил от имени епископа отлучением и велел каждодневно каяться и стоять молебны в церкви. Угар и чад оставили в душе его речи.

Святослав решил плыть рекою к Игорю, а потом в Киев.

Мимо сосновых лесов течет неширокий Сейм, мимо брошенных деревень, сожженных еще прошлым летом половцами. Пришла пора дождей, и берега были пустынные и унылы. Подумалось Святославу: сумеи любить родину в ненастье, а в солнышко ее всяк полюбит.

Бесконечным казался путь.

Жизнь есть дорога. Куда? Может быть, к смерти? Но зачем дан тогда человеку мучительный дар познания и творчества? Напутствовал его когда-то боярин и монах отец Феодор: «Не ходи дорогой предков, но ищи то, что искали они. Отказаться от доброго дела, которое можешь свершить, — значит предать себя». И он искал и сделал все, что мог. И не обрел покоя и веры. Неправду говорят, что бог отделил свет от тьмы и добро от зла, смешаны они друг с другом и неотделимы.

Сказал Христос: «Не мир, но меч принес я в мир. Сын встанет на отца, в семье, где пятеро, трое будут против двух, двое против троих». Во имя чего посеял спаситель рознь меж людьми — чтоб утвердить свое имя силой и страхом?

Святослав ловил себя на мысли, что кощунствует, пытался молиться. Но вместо молитвы стал повторять стих грека Григория Назианзина:

Увы, нет меры, нет конца томленьям,
Увы, все длится странствие житейское
В раздоре с целым миром и самим собою.
Растлился образ божий — дар прекрасный.

Господень образ гибнет! О злодей, злодей,
Ты душу подменил мне, как в огне горю...

Епископу Порфирию просто жить: он ни в чем не сомневается. Сомнение на Руси под запретом. Но не зря сказано: без спору — скоро, да не прочно...

Поздно вечером причалил Святослав у Новгород-Северска. Встретили его как самого дорогого гостя. Ярославна захлопоталась, смотрела на него с удивлением и нежностью:

— Как ты угадал, что я плакала на городской стене, вас ожидаючи, что молилась всему на свете — и ветру, и птицам, и солнышку?

Игорь похохатывал:

— Заварил ты кашу, племяш. Из меня почти святого сделал, единственного защитника Руси! Думаешь, простят такое мне и тебе наши скудоумные дядья и родичи?

Игорь был втайне доволен: слава защитника и героя не повредит ему. Он думал теперь о Галиче. Умер Ярослав Осмомысл, и на освободившийся престол послал он сына Владимира — нельзя упускать столь лакомый кусок. Но ведь и соседи на него зубы точат...

Вспоминали поход, плен. Святослав рассказал об угрозах епископа.

— Плюнь, — сказал Игорь. — Знаешь, как о нем говорят: стоит столбом, пытит огнем — ни жару, ни пару, ни угольев.

А Ярославна встревожилась: крут Порфирий и слов на ветер не бросает. Советовала спешить в Киев и искать защиты у митрополита и великого князя.

— От чего защиты, какая за мной вина?

— Был бы человек, а вина найдется, — ответила Ярославна. — Своей судьбы и предсказатель не знает.

И Святослав поспешил в матерь городов русских —

Киев, к двоюродному деду и старейшине князей Святославу Всеволодовичу, прозванному Седым.

Давно поджидал его великий князь, выдерживая споры с митрополитом и родичами. Митрополит приходил с посланием черниговского епископа. Кроме проклятий на злокозненное сочинение «Слово о полку Игореве», было там сказано, что пойман гуслир, певший его в народе.

— Если предать то сочинение анафеме, в народ молва пойдет, — доказывал Святослав Всеволодович. — Проще молчать о нем, словно ничего не было. Казни того гуслира или объяви с ума спятившим. А рыльского князя я в обиду не дам — он внучатый племянник мой и первейшего на Руси рода. Перегнешь лозу — она сломится.

Митрополит ушел недовольный.

Когда прибыл Святослав к великому князю, тот обласкал его, похвалами осыпал:

— Люди подобны богу полетом мысли и подобны зверю-кабану, потому что живет в них дикость и злоба. И разделяются они так: в одних больше божественного, в других звериного. Вот и о тебе судят всяк по-своему. Забавно: многим князьям воздал ты высокую хвалу, а они прониклись к тебе гневом. Почему? Потому, что уголь вложил ты в их сердца: изобразил Русь с начала веков растерзанной и кровавой.. «Тогда... редко пахари кликали, часто вороны граяли, трупы деля меж собою...» Грязью ты замазал прошлое Руси.

— Не зная прошлого, не понять будущего.

— Так оно. Есть Русь лапотная, дикая, с курными землянками, и есть — великая и сильная, отстоявшая себя в трудах и битвах! О ней расскажи!

Надеялся великий князь не сразу, а со временем сломить упрямство Святослава и на пользу употребить его

дар: пусть напишет повесть о героической судьбе родины, без крови и грязи.

— Взялся ты постигнуть нашу Русь-матушку, а она непостижима. Взялся ты спорить сотцами церкви, и за то грозят они насильно заточить тебя в монастырь. Но с митрополитом и другими князьями я договарюсь. А ты — сумеешь ли сломить свою гордыню?

Уходил Святослав от великого князя в смятении: все, чем он жил, обернулось против него. Он поднялся на берег, где когда-то переживали они грозу с Путятой. Теперь тучи над рекою ползли низко и лениво. Сеялся дождь — затянулось ненастье.

И в душе ненастье. Он — изгой, еретик, скоморох. Одни проклинают его, другие смеются над ним. Над святым его порывом смеются, над несчастьем родины... А он-то верил в чудо, но чудеса сопровождают нас только в детстве и юности. Тогда, в тех дальних сосновых лесах, он встретил девицу, что назвалась его невестой. Была ли она, эта встреча, не приснилась ли? И было ли все, что пережито — битва, гибель дружины, плен...

Как глаза мои со слезами
Не падут на сырой песок,
Как от горькой этой печали
Не расколется сердце враз...

После похода 1185 года летописи молчат о рыльском князе Святославе Ольговиче, и дальнейшая судьба его неведома. Умер он после 1191 года и, видимо, был похоронен в Новгород-Северске, в родовом храме Ольговичей, где покоились его дед и отец.

ЭПИЛОГ

Словно бы предвидел автор «Слова о полку Игореве», к чему приведет Русь вражда и раздробленность: через полвека навалились на нее Батыевы полчища, смели и растоптали беззащитные в одиночку княжества.

Шли столетия. Так же ходили по городам и селам гусяры, пели былины и запретные песни, но о повести про Игорев поход никто из них не помнил и не слышал. И все же знали на Руси «Слово». Свидетельство тому — отдельные строки из него, вписанные позднейшими летописцами в их труды, и повесть о Куликовской битве «Задонщина» Софрония Рязанца. Монах Софроний переписал целые страницы из «Слова», заменяя имена, приспособлявая чужие образы и строки к иным событиям. В наше время это называли бы литературным воровством, но тогда подобное не считалось зазорным.

В конце восемнадцатого века книголюб Мусин-Пушкин, скупивший груды древних монастырских книг, в одной из них обнаружил «Слово» и был поражен его поэтической силой. Так началась вторая жизнь древней повести.

«Слово о полку Игореве» занимает десять страниц печатного текста. В нем три десятка имен, в которых заплутает неподготовленный читатель, столько же не всегда понятных географических названий. И все равно оно потрясает нас своею страстью, порывом, высокой поэзией. И остается одной из самых удивительных загадок Древней Руси.

Одна из его тайн — тайна автора. Сам он не оставил подписи под «Словом», нет упоминания о повести и в летописях. Кто же он, неизвестный певец? Восемь веков отделяют его от нас.

Разные высказывались о том предположения. Как-то прочитал мой отец статью одного литературоведа, который доказывал, что «Слово» написано иноземцем, и долго не мог успо-

конься. А есть еще и ниспровергатели авторитетов, они тасуют факты подобно игральным картам, стремясь доказать, что «Слово» — поздняя подделка под старину, дикая русская древность не могла родить такого гения. Кого не заденет подобная самоуверенность и слепота, заносчивое пренебрежение к тому, что для тебя — родное! В крови, в биении сердца то чувство, которое зовется любовью к родине. А для того, чтобы полюбить, надо понять, постичь умом и душой.

...Как всегда, засиделся отец допоздна, стараясь представить, каков был человек, создавший гениальное творение. Кос что в его судьбе можно понять, вчитываясь в саму повесть.

Принадлежал он к именитой дружине, или скорее всего сам был княжеского рода, потому что прекрасно знал быт и историю каждой княжеской семьи, да и обращается он к именитым князьям как равный. Был он участником несчастного похода: точны и ярки его описания степной природы и каждого дня похода. А главное — надо было самому пережить позор плена, чтобы увидеть издалека родину и понять случившееся. Был он историк и литератор, знавший летописи, историю Руси до глубокой древности, народные сказания. Столь блестящее образование и культура были доступны тогда очень именитому человеку. Жил автор интересами южных земель и принадлежал к окружению Игоря. Вероятно, был он молод, потому что «Слово» — порыв и крик души.

Четыре князя пошли на половцев — Игорь, Всеволод, Владимир и Святослав рыльский...

Отец задремал, и привиделся ему смутный княжий образ. Он ошалело вскочил и схватил книгу, хотя и знал ее наизусть:

Спевши песнь старшим князьям, пропоем молодым:
Слава Игорю Святославичу,
Буйному туру Всеволоду,
Владимиру Игоревичу!
Здравие князьям и дружине...

А почему четвертого участника похода, Святослава, молодого князя рыльского не чествуют?

Снова начал перечитывать текст.

Трубы трубят в Новгороде,
Стяги стоят в Путивле,
Игорь ждет мила брата Всеволода...

Новгород-Северск — сам Игорь. Путивль — сын его Владимир, третий — Всеволод. Опять нет Святослава! Почему? Не знал о нем автор или не хотел упоминать?

Другого дня рано
кровавые зори свет возвещают,
черные тучи с моря идут,
хотят прикрыть солнца четыре...

Четыре солнца — четыре князя. Значит, все-таки их не трое?

Темно было в день тот.
Два солнца померкли,
оба багряные столпа погасли,
а с ними и два молодые месяца...

Два солнца и столпа — старшие князья, молодые месяцы — младшие. Что же из этого следует? Значит, где говорится только о количестве князей — участников похода, там Святослав упомянут наравне со всеми, а где им воздаются воинские почести и слава — там нет его имени. Почему? Может быть, он в том походе струсил или был просто не замечен? Нет!

На первый бой с половцами вел дружину Святослав — свою, Владимирову и Ольстинову, а Игорь и Всеволод «пома-лу идяше, не распускаше полку». В «Слове» же — Игорева эта победа:

Рассеялись стрелами по полю,
Красных дев половецких погнали,
Плащами стали и кожухами
Мосты мостить по болотам и топям.

А красный стяг — бела хоругвь, красная челка —
серебряный жезл — храброму Святославичу.

Невольная возникает мысль: а уж не сам ли Святослав, четвертый участник похода, и был автором «Слова о полку Игореве», и потому нет его имени в повести? Летописи рассказывают, что в том первом бою Святослав увлекся погоней, а когда их окружили половцы и Игорь предложил уходить, молодой князь ответил, что притомились его кони. И еще сказал: «Если сами побежим, а черных людей оставим, то от бога нам будет грех». Его поддержал Всеволод, и решили принять бой. Значит, видную роль играл Святослав в том походе, и на него вместе с Игорем обрушились упреки в гибели полков. Мучительно пережил он позор плена и, чтоб отстоять честь погибших и свою честь от несправедливых нареканий, обратился к «Слову».

Вот она, тайна рождения памятника! Почему щеки стали влажными? Хочется разбудить всех, кричать на всю улицу, на весь мир:

— Автор древнего творения найден!

Из всех известных нам современников «Слова» именно Святослав, молодой, горячий, влюбленный в своего дядю Игоря, свидетель и участник событий, мог сложить эту страстную, полную душевной боли повесть. Он образован, знатен и мог обращаться как равный к самым именитым князьям, а некоторым давать пощечины:

Ярослав и все внуки Всеслава!
Склоните стяги,
В землю вонзите мечи опозоренные,
Уже вы отринуты от дедовой славы...

И понятно теперь, почему в повести с большим уважением говорится об Ольговичах, к которым принадлежал Святослав, и их союзниках, и резко — о соперниках. Даже Боян, взятый автором в поэтические проводники, — певец его пра-

деда Олега. Понятно, почему «злато слово» произносит двоюродный дед рыльского князя, а голос Ярославны звучит как голос родины.

И то, что не оставил автор своей подписи под памятником, говорит за себя — имя его было известно на Руси.

Святослав, родной, ведь это же ты! Твой голос, полный любви и гнева, слышу я!

...Впервые за долгую и трудную жизнь отец плакал. То были слезы счастливого человека.



**• ПОХОД
НА ЮГРУ**



СОКРОВИЩА ЦАРЕЙ ВОСТОКА

В покои боярина Вяхира привели человека с желтым лицом, в одежде из кишок моржа и белых шкурок маленьких тюленей. Он был худ и слаб, только глаза цвета спелой сливы были горячи и полны жизни.

Близ конца земли, где вливается Двина в Полуночное море, в жилище бедного охотника-помора нашли его боярские люди, ходившие за данью.

И узнали в нем Мухмедкуперснаннина.

Много весен назад приплыл непутевый купец с южными горячими глазами на немецкой крутобокой ладье. И прижился в Новгороде, как свой. Бывало, что надолго исчезал. И опять возвра-



щался — то в пышной свите болгарских послов, разодетый в красные мягкие сапожки и длиннополый плащ из лилового бархата, то стриженный под гречанина, в одной нательной рубашке, с острыми от худобы коленками и локтями. Торговал всякой всячиной, наживал казну и снова становился гол.

Однажды ушел с вольными ушкуйниками на пяти ладьях по хмурой Онеге. Мыслили ушкуйники плыть Полунощным морем дальше Печоры и Каменного пояса, где не был никто из людей.

Ушли, и не стало от них вестей.

Боярин указал принести для хворого подушки и всю ночь пытал его о виденном.

В покоях застоялся запах зимы и пересохшего мха. Чадили свечи, и на стенах колыхались тени.

Сказал боярину непутевый торгош:

— Телу надобна пища, чтобы сохранить силу, нужна пища глазам, чтобы хранили они огонь жизни и не стали злыми и тусклыми, как у запечной мыши. Я прожил десять жизней, и все, что видел и знаю, уснет со мной. Только одно я скажу тебе — чего не может вместить мое сердце, изведавшее сверх меры ужасное и смешное.

Персианин прикрыл рукою воспаленные веки. Он лежал на скамье на подушках и шумно, со стоном, дышал.

— Слушай, боярин, слушай.

В море Сумрака, прозванном греками Медвежьим, когда ветер разорвал в тряпки наши паруса, вспыхнул над нами цветной небесный огонь и пошли к берегу льды высотой в три терема. Наша ладья дольше других уходила в разводья, пока ей не раздавило корму.

Я один добрался до берега. Я шел по земле, где много воды, а белый мох густ и плотен, как зимняя шкура зверя. С головы моей ушли волосы, а зубы я выплюнул, словно скорлупки лесного ореха. Я добрался до Каменно-

го пояса. Как? Всюду на земле живут люди, и они примут тебя, если не тень меча, а протянутую руку увидят перед своей дверью. Они посадят тебя к очагу и дадут тебе строганные кусочки мороженой рыбы и горячее мясо оленя — все, что едят сами.

Слушай, боярин, слушай. Я был там, где не ступала нога чужеземца, на горе, похожей на уши крутолобой рыси, где скалы изрисованы темной охрой. У тебя бы лопнули там глаза от жадности и высохла кровь от бессилия. Ты бы остался лежать там скелетом вместе с костями белых коней и сохатых, которых югры по обычаю принесли в жертву своему богу.

В пещере, где воют камни при звуке голоса, я видел безносую статую из желтого золота с монетами вместо глаз. Она была обвешана серебряными ожерельями и поясами, как нищий лохмотьями.

Ты не знаешь, боярин, это было серебро моих предков. Много серебра. Курганы блюд и кубков с начеканными лицами восточных царей, с грозными фигурами зверей и грифонов. Курганы монет и украшений, смешанные с землей и костями белых коней и сохатых, принесенных в жертву югорскому богу.

Я гладил шершавыми пальцами позолоченную чашу — с нее смотрели глаза парфянского царя Ардашира. Он жил в столетье, с которого считают новое время христиане. И, может быть, он пил из этой чаши солнечное вино.

Я плакал. Ты не поймешь этого, боярин. Я плакал потому, что искусные изделия моих предков, мастеров Хорасана, были свалены у ног чужого безносого бога с монетами вместо глаз. Этого не могло вместить мое сердце.

Вы, новгородцы, ведете счет дней от Гостомысла и не знаете, что было прежде вас. Было на Востоке в начале новых столетий могучее царство на месте старой Парфии. Правили им персы, прозванные сасанидами.

Если бы на их пир пришел весь Новгород — все равно гости ели и пили бы только из драгоценной посуды.

Но явился среди арабов человек по имени Магомет, и его называли пророком. Он сказал: «Рай находится под тенью мечей». И арабы подняли мечи войны. Великой кровью заставили весь Восток склониться под их знамя и принять новую веру — ислам.

Держать в доме вещь, на которой был рисован человек или зверь, стало равным идолопоклонству.

И тогда густо потекло серебро старой хорасанской чеканки во все дальние земли — на Волгу к хозарам, на Каму к булгарам и еще дальше — по Серебряной реке Нуркат¹ на Каменный пояс. В страну, где белки идут дождем, а соболя скачут черной метелью.

Потекло в обмен на драгоценные шкурки соболя, бобра и рыси. Югра, почитавшая светлый металл больше собственной жизни, платила за него меховыми горами, не зная, что за серебро платит золотом.

И никто не ведает, какие сокровища моих предков скопились у Каменного пояса.

Я так говорю тебе, боярин, потому, что мне больно знать это. Больно знать, что труд мастеров Хорасана служит чужому богу.

Нет, я ничего не взял у безносой статуи. Я тихо ушел в тайгу. Ибо чужеземец, увидевший ее лицо, не должен оставаться живым. Таков закон Югры.

Для тебя богатство — то, что ты держишь в руках. Для меня — то, что узнали глаза и уши. Но не все может вместить сердце.

Ты, боярин, похож сейчас на голодную росوماху. Готов грызть меня за то, что я видел это. Ты пойдешь на

¹ Река Вятка.

Югру и разграбишь гору, похожую на уши крутолобой рыси. Но мне теперь все равно. Я рассказал тебе то, что не могло вместить мое сердце, пресыщенное смешным и жестоким.

...Непутевый торгош Мухмедка-персианин не вышел из боярских покоев. Челядинцы шептались, будто отойти в другой мир он поспешил. Боярин Вяхирь поставил в божнице свечу за упокой иноземца. На всякий случай.

И велел призвать к себе холопа своего Савку.

ЗАДРЕМАВШИЕ ВЕТРЫ

Непутевому Якову, сыну кривого Прокши, попала вожжа под хвост. Потому ли, что остался не у дел и был испуган в луже веселой новгородской вольницей. Или другая на то причина.

Потребовал он у жены квасу и выплеснул его в цветок, швырнул сапогом в кота, дремавшего на лежанке, и остриг полбороды, смотрясь в начищенный медный поднос.

— Опять приключилось что? — робко спросила Малуша. У нее было добренькое лицо в морщинах, с родинкой на кончике носа.

Яков погладил себя по животу, вдруг хлопнул по нему ладонью и захохотал:

— Глянь, отъелся. Расперло, как надутую лягушку. А рожа, смотри, рожа какая! Словно клюквенным соком налита. Надави — и брызнет. Хоть в посадники с такой рожей просись.

Он хохотал долго и без удержу, охлопывал себя, будто выбивая пыль.

Потом вздохнул и пробасил:

— Помнишь, как выкрал тебя из батиной ладьи? Ни единая душа не заметила.

— Опять уйдешь? — устало спросила Малуша. Она ссутулилась и бессильно опустила руки.

Было сумрачно в доме. Пахло резкой свежестью после грозы.

По молодости гулял Яков на Ладоге с разбойным станом, потрошил купцов проезжих. Был он тогда худошав и смугл, носил в ухе золотую серьгу-полумесяц. Привел однажды в стан перепуганную девицу с родинкой на кончике носа. И венчался с ней под волчий вой и шум сосновый.

А после торговал товарами скупого тестюшки в разных землях, пока не проторговался. Стал сотником и хаживал в воеводской дружине на Чудь белоглазую, в Емь и Карелу.

А Малуша только и знала, что готовить его в дорогу да тосковать в одиночку долгие зимы.

На склоне лет пришел было в дом покой. Проворовался настоятель церкви Прасковьи-Пятницы в Славянском конце отец Олфима. Ремесленный люд и купцы растаскали его двор по бревнышку, а самого завязали в мешок и оставили на колокольне. И на вече назвали новым настоятелем Якова — он и в грамоте искусен, и на руку почище.

Яков облачил тучное тело в рясу и принял сан. Прихожане сначала над ним похохатывали. Потом терпели. Кому придется по нраву, если на проповедях у него пересмешки вместо благолепия и торжественности. А исповедовать взялся он так, будто дознание вел: все расскажи — что, почему и как.

И лопнуло терпение у прихожан, когда однажды во время крестин приковылял в церковь молодой медведь в

красной рубаше, сел перед Яковым у царских врат и стал отчаянно вычесывать за ухом. Медведя Яков купил у прохожего скомороха прошлым летом.

Крику и визгу было в церкви! Успел отец Яков за-тащить мишку в алтарь и удрать с ним в окно.

Медведь убежал, а Якова изловили. Слегка намяли бока, искупали в луже и прогнали с миром. Остался он при сане и без прихода. Затосковал.

— Чуешь? — спросил он Малушу. — Плесенью в доме пахнет.

И втянул воздух широкими ноздрями.

— Окстись, все двери настежь.

— А я говорю — пахнет.

— Пахнет, пахнет, — согласилась супруга. — Что в путь готовить? И куда?

— Не спеши, — отстранил ее Яков, маленькую, суту-лую, печальную.

И на мохнатом белогривом Пегашке уехал к Гостино-му полю. Ветры нюхать.

За Крутым порогом на стремнине Волхова стоят в два ряда крутобокие корабли с выгнутыми носами и осевшей кормой. Скалятся сверху на воду безглазые звериные па-сти на длинных шеях. Все, как в песне поется:

Нос-корма по-туриному,
Бока взведены по-звериному.

На берегу — костры, толчея, разноразное веселье.

Яков расправил плечи и запрокинул голову.

Неподвижен и чист воздух. Прозрачны зеленоватые струи Волхова, и небо вдали цвета прозрачной зелени.

Яков идет по сырому песку от ладьи к ладье, втяги-вает воздух широкими ноздрями, морщится или с на-слаждением чмокает, прикрыв глаза.

К тонким запахам воды, сырых камней и дыма при-

мешались неуловимые ароматы имбиря и корицы, нездешних плодов и пряностей. Пахнет застоялыми трюмами, мокрой солью и задремавшими в мачтах дальними ветрами. Просторен мир и непонятен.

Осел на один бок облезлый кораблик на мелководье. Струи лижут зеленую морскую накипь на днище. Воткнулись в песок весла, и на щегле свисают оборванные снасти. На бруске борта спит человек с бритой головой, свесив за борт босую ногу.

Яков щелкнул по борту камешком. Крикнул бритому: — Откуда?

Тот поднял голову, сплюнул и не то обругал, не то ответил.

Хорошо Якову.

Человека гонит в дорогу мечта. Или беда. Или леший его знает что — ноги должны ходить, а глаза видеть.

ВОЛЬНЫЙ ГОРОД

Велик и славен город на Ильмень-озере. На торжище под Горой — даже слепой прозреет и растеряет глаза в тысячеголосой толчее, где меняют венгерских иноходцев на греческий бархат, где немчин сыплет арабское серебро за многопудовую болгарскую медь, где целуются и дерутся, и пестрят перед взором лохмотья и золото. Горы товаров. Серебристые соболи и бобры, не имеющие цены на Востоке и Западе, клыки моржа, чистые, как слоно-вый бивень, воск, янтарь, кожи, злобные северные кречеты, нежные осетры — вот оно, богатство Новгорода.

Велики владенья Новгорода — от Балтийских берегов до Каменного пояса его чети и поселения. Чудь белогла-

зая и Карела, Емь и Самоядь, что живет у моря и боится воды, Великая Пермь, что не умеет делать железа, и загадочная Югра — все данники Новгорода.

Но только слабый принесет дань своею волей, да еще и поклонится.

О богатствах строптивой Югры рассказывают легенды. Но легче в Грецию сходить, чем добраться до Каменного пояса. И никому не ведомо, чем будет потчевать Югра — лаской или стрелами.

Шесть годов назад хаживала к ним новгородская дружина. Обожглась. Кому довелось вернуться, про такие страхи рассказывали, что не каждый теперь снова идти отважится.

Тогда же ушел вслед войску изгнанный из Новгорода дядька Якова — Помоздя, прозванный Молчуном.

Больше одного слова за день от него никто не слышал. Коли осерчает, мазнет кулаком обидчика по скуле, сплюнет и уйдет, пока тот на земле барахтается. Побитый только утрется, но шум поднимать не станет. Потому что ходила за Помоздей слава человека справедливой, зазря не ударит.

Однажды на торжище уложил он купца, менявшего гнилые кожи. И кожи его изорвал. Купец еле оправился, заикаться стал. И призвал Помоздю на суд за обиду и за то, что подстрекал он якобы чернь на грабеж и смуту.

Такого навета Помоздя стерпеть не мог. Перед долгополыми боярами и посадником еще раз ударил наветчика, да так, что из того душонка вытекла прочь.

И ушел из города с тремя такими же неслогоохотливыми сынами куда глаза глядят, куда ноги несут.

Вернувшийся из Югры дружинник рассказывал Якову, будто бы видывал сынов Помоздиных за Великим Волоком, в междуречьи Печоры и Вычегды. Батю они схоронили и поставили в том месте избенку.

Тогда же выменял Яков у дружинника выцарапанный на бересте чертеж путей через Пермь Великую на Каменный пояс. Клялся дружинник, будто другого такого чертежу нету, что по нему еще век назад Гурята Рогович хаживал на Печору «через леса, пропасти и снега».

Был год 1193-й. Снаряжал новгородский воевода Ядрей дружину. В дальние земли, на Югру.

Сговорился Яков с пузатым воеводой, что сам поведет его разбойное войско.

Давал воевода Якову коней и все, что надобно для войска в двести топоров, за это требовал три десятины добычи.

Яков помолодел. Скинул рясу и вдел в ухо золотую серьгу-полумесяц, с которой гуливал в атаманах в давние годы.

Осень.купаются в канавах потяжелевшие гусята. На Кожевенной улице колышется парок над колодцем долбленного из сосен водопровода и воняет кислыми кожами.

Едет на своем медведе верхом захмелевший Яков, без шапки, с золотой серьгой в ухе. У медведя бубенцы на шее, красная рубаха снизу иссечена в ленты.

За Яковым с повистом и приплясом бегут ребятишки и зеваки.

— Эй, люди честные, силачи записные, кому охота о мишкины бока руки почесать?

Выехал было из низких ворот мужичок на лошади. Конь захрипел, попятился и понес седока во весь опор через огороды.

У ворот жметса детинушка в косую сажень ростом. Он с котомкой, в лаптях и порванной до пояса полинялой рубахе.

Яков подвел к нему зверя и вдруг испуганно крикнул:

— Боярин!

Мишка присел и закланялся, жалостливо постанывая.

Детина почесал волосатую грудь и отошел.

— Не уважают мишеньку, — погладил Яков зверя. — Обидели мишеньку.

Медведь облизнулся розовым языком, скосил маленький глаз и пошел на детину, позвякивая бубенцами. Детина попятился.

— Отгони зверя. Зашибу ненароком.

Ударил мишку ладонью в нос. Тот отскочил, взревел и двинулся на обидчика.

Улюлюкали и хохотали молодцы и зеваки, приплясывая от потехи. Детина крикнул:

— Уберите, зашибу!

И вдруг выломил из забора слегу. Перехватил его руку Яков, крикнул мишке:

— Умри!

Медведь снопом повалился ему под ноги. Детина шумно сопел, серые глаза были злыми.

— Зовут как?

— Омеля. Почто зверем травишь?

— Пойдешь ко мне в дружину?

Детина подумал. Поднял с тропки оброненную кем-то берестяную грамотку. Прочел по слогам: «Недоумок писал, совсем дурак, кто читал». Отбросил в сердцах. Мрачно ответил, поглядывая на золотую серьгу:

— Не пойду. Пусти.

— Беглый? — прищурился Яков.

Детина вздрогнул, ссутулился и замахнулся:

— Иди ты...

У него были воспаленные затуманенные глаза голодного человека.

Любопытные уже запрудили улицу, задние тянули шеи и напирали на спины, не зная в чем дело.

К Якову протолкался Савка, дворовый человек боярина Вяхиря.

— Атаман, — снял он шапчонку. — Меня на звере испробуй.

Был Савка невысок ростом, но кряжист и крепок, как старый дубовый пень. У него были длинные не по росту руки, одной левой мог он подкову согнуть.

Был Савка зол на весь белый свет. За свои злосчастья.

Промышлял он прежде ремеслишком: вил тонкую скань, нанизывая на нее мелкие бусины и стекляшки, сбывал невзыскательным деревенским молодухам.

Но был в городе мор и голод. Пришел с ладожской стороны волхв и звал зорить боярские дворы.

Гуляли пожары, на улицах оставались несхороненные тела. И никто не хотел смотреть на дешевые Савкины безделушки.

Тогда и разорился Савка вконец и проданся Вяхирю в закуп. А на боярский двор только ступи — вмиг окажешься в холопах. И не выйдешь из кабалы.

Утром призвал к себе Вяхирь Савку и сказал, чтобы шел на Югру с атаманом Яшкой.

— Вперед вместе, а назад один. Уразумел?

— Уразумел, — ответил Савка, и кровь отхлынула от лица.

— Путь примечай, потом меня с войском поведешь. В атаманы выйдешь.

Нетороплив боярин Вяхирь. Хватка у него медленная и мертвая. Не бросится он в неведомую даль сломя голову. Он подождет, подготовится и нагрянет с крепкой дружиной в гости к золотому безносому богу. А пока...

Посулил боярин Савке почет и волю. И добавил, ласково улыбаясь:

— Пришли-ка на двор бабу с отроком. Пусть пока глину месят при холопской гончарне.

У Савки перехватило дыхание.

— Помилосердствуй, батюшка!

Прищуренный глаз боярина был желт и холоден.

— Пшел.

Есть ли что на свете страшнее неволи?

Десятый годочек сыну Тишате. Болезненный он, не-смелый. Выпрашивает на бойне бычьи рога и режет из них что надумает. Искусно точит зверюшек тонкими ножичками. Чистенько. Недавно вырезал гребень с дерущимися конями — каждый волосок проточил на гривах.

Не потрогал Савка радости. Так хоть Тишате ее уз-нать бы.

Рви себе лицо, бейся о землю, кричи — ничто не помо-жет. Будут Тишата с матерью месить едучую глину бо-сыми ногами на морозе, подливая в нее горячую воду. Сперва потрескается кожа на икрах, а потом засверлит кости нестерпимой болью.

Будь проклята кабала! Ногти в кровь издерет Савка, а выкарабкается. Должен вернуться он с ношей мехов и серебра. Поставит свои лабазы в меховом ряду, заведет торги, и будут перед ним черные люди шапки ломать, как ломают нынче перед Яковым.

К горлу подступила дурнота и мешала дышать. Буд-то ворочался в груди темный лохматый зверь.

Говорят, очищается человек, изведав несчастья в пол-ную меру. Станет крепок и светел сердцем. Так ли? А ес-ли беда ему не по силам? Согнет она и сломит. Душу на-полнит желчью, а взгляд — отчаянием, как у затравлен-ной собачонки.

Медведь тянул Якову лапу и звенел бубенцами, вы-маливая сладостей, как последний попрошайка.

— Испробуй, — кивнул Савке Яков. — Повалишь зверя наземь — даю две куны серебром. Он одолеет — не взыщи: потешная порка.

— Ладно.

Бросил Савка наземь шапчонку, обошел зверя. Тот косил глазом и переступал за ним по кругу.

Савка нырнул ему под правую лапу и оказался сзади. И повис на ушах у зверя, упершись коленом в горбатую спину. Мишка взревел, запрокинул голову.

У Савки на шее надулись жилы. Всею силой рванул зверя на себя, мишка оступился, шмякнулся и перекатился через голову.

Толпа ревела. Вzbешенный медведь наступал на Савку во весь свой рост с налитыми кровью глазами. Савка поднырнул ему к животу и вцепился в красную медвежью рубаху, провонявшую прелой шерстью. Медведь пытался схватить его короткими лапами и больно бил по плечам.

— Моя взяла, — хрипел Савка. — Моя взяла.

— Его победа! — кричали в толпе. — Плати куны!

Яков отогнал зверя и взял его за цепь. Бросил, не глядя, Савке серебро.

— Не надо, — сказал Савка. — Возьми в свою дружину, пригожусь.

Он стоял, прижав к груди шапку. Глаза были скрыты тенью.

ПУТЬ

Двести молодцов, крепких и широкогрудых, отобрал Яков в разбойное войско. Был тут Савка — подневоль-

ный человек, Омея, сын колдуна Волоса — Зашиба, чер-
ный, будто кощей, воеводские дружинники и вольные
люди, богатенькие и беспортошные.

Долог путь. Спешили ушкуйники достигнуть до ледо-
става Устюга Великого, что стоит в устье Сухоны-реки на
Двине.

Были дожди. Затяжные и холодные. Промокла земля,
промокло небо, промокла и задубела одежда.

Потом дохнуло морозом, а тучи стали синими и тя-
желыми. Мокрый снег слепил коням глаза. По утрам они
резали ноги о молодой острый ледок, скользили и споты-
кались.

Грузный Яков похудел и подтянулся. Стал сосредото-
чен и молчалив. Только иногда вдруг заболтает ногами
на своем белогривом Пегашке, засвищет разбойничьим
посвистом и пустится вскачь по избитой дороге.

Остались позади Векшеньга и Тотьма — погосты нов-
городских доможирцев, собирающих дань с местных пле-
мен.

Яков ехал впереди, сунув шапку за пазуху. Был моро-
зец и ветер. Запоздалые листья, желтые и пурпурные, ле-
тели на снег и под ноги коням. У щеки Якова покачива-
лась желтая серьга, похожая на жесткий осенний лист.

Савку злила эта серьга. Легко дается Якову жизнь.
И он кичится этим. Савке бы это золото. Савка бы за-
жил.

Он не знал, как бы он зажил, но при одной мысли об
этом сердце купалось в тепле.

Яков придержал коня и крикнул:

— Уговор таков: счастье найдем — всем по доле де-
лить. На беду набредем — чур мне одному.

— И мою прихвати в придачу, беду-то, — мрачно от-
кликнулся Омея.

— Твою не возьму, — посерьезнев, ответил Яков.

— Пошто?

— Прожорлива больно, не прокормить.

Захохотал и стал ловить листья в кулак.

Войско растянулось по лесной тропе, и шутку передавали едущим сзади, она катилась дальше и дальше, сдобавлениями, пока не взорвалась визгливым смехом последнего ратника.

Омеля сопел и смотрел на поникшие уши коня. Медлителен он умом и телом, и над ним посмеиваются все, кому не лень. Он покорно сносит обиды, разве что шлепнет пересмешника в сердцах по затылку.

Только одно задевает до боли.

Он был всегда голоден. Мальчишкой, когда дрался с братьями из-за пыльной сухой корки, найденной под сундуком. Отроком, когда княжий тиун, исхлестав отца плетью по лицу, увел со двора коровенку, и они мололи тогда зерно с лебедой и липовым цветом. Потом пас Омеля княжеских свиней и копал с ними сладкие корни медвежьего лука. Младший братишка был слеп, и Омеля приносил ему корни рогоза и медвежьего лука как лакомство.

Бежал Омеля от нужды в вольный Новгород. Но волен он не для тех, у кого вся казна — порты да лапти. Пробивался случайными работами, пока не упал на дворе гончара. Три дня не евши, нанялся колоть дрова. Исколол три поленицы и упал. На счастье, толстая повариха от доброго сердца стала потом подкармливать хозяйскими обедками.

Ему, Омеле, немного надо. Ему — работу и пожрать вдосталь. Ежели вернется из Югры с мешком серебра и мехами обвешанный, купит жаренного на вертеле барана. И серьгу, как у Якова, в ухо повесит.

— О чем позадумался? — окликнул его Савка.

Омеля сладко потянулся и сказал о серьге.

Савка выругался про себя. Недоумок! Его головой орехи колоть.

Но Савка неспроста присматривался к Омеле. Если его распалить — осерчает и грозен будет во гневе. Не удержишь ничем.

И к другим присматривается Савка. Молчаливо, исподлобья.

Робеет Савка перед Яковом. Тот похож на одичавшего жеребчика, не знавшего хомута. Словно мир — веселая степь, где вволю корма и тепла.

— Ты на мальчишку похож, — сказал Якову Зашиба, сын колдуна Волоса, черный, будто кощей. — Говорят, к старости в детство впадают.

Яков расхохотался.

— Для мальчишки земля — сказка, и он ищет чудеса. Что же в этом плохого?

«Конечно, жеребчик, — подумал Савка. — В мальчишестве все жеребчики. А как наденут хомут и впрягут в телегу, так и глаза потускнеют, вылезут ребра и подогнутся коленки. Будешь смотреть под ноги и дремать на ходу. И Тишате моему та же участь».

Ночевали в маленькой деревеньке на три двора.

Яков с наслаждением вытянулся на печи, разморенный теплом. Задремал и проснулся оттого, что зудели спина и руки. На полу вповалку храпели ушкуйники. Яков зажег лучину. По закопченной стене ползли клопы. Они вылезали из щелей, проворно бежали на потолок и падали оттуда легкими капельками. Яков стал сшибать их щелчками и палить лучиной.

Потом изругался и вышел на крыльцо. Оно было скользким от инея. Столбы покосились, как покосилась и сама изба.

На завалинке сидели колдунов сын Зашиба, Омеля и еще несколько ушкуйников.

— Завсегда она сзади идет, — рассказывал Зашиба. — Почуешь вдруг, что в затылок дышит, обернулся — хватить! А ее уж и нету, пусто в кулаке. Так она и ходит.

— Кто? — спросил Яков.

— Беда. Есть маленькие беды, а есть главная. Мне бы вот ее встретить и хребет заломить.

— Ты хоть видел ее в глаза?

— Не-е. А вот скажи, рождается человек и есть у него руки и разум. И каждый своим велик и с другим не схож. Только один родился сразу боярином, а другой лапотником.

— Так господь предрешил.

— А почто он так предрешил? Сказывают, прежде все боги жили вместе и ели из одной чашки. И наш Христос, и дедов Сварог, и заморский Аллах, и все, какие есть. Перессорились они, споря, кому первым быть, и ушли со своими племенами в разные концы земли. С той поры и затевают племена вражду меж собой, потому что их боги в ссоре.

— Голова у тебя всякой всячиной набита, — рассердился Яков.

— Это верно, набита, — согласился Зашиба.

Не то волнует Якова, не божьи споры. Манит его мутная лунная даль, будто откроется за нею такое, о чем всю жизнь тосковал. А тоска эта хуже бессонницы.

Говорят, человек поймет, что есть родина, когда потеряет ее. Говорят, прозреет он и поймет, что есть жизнь, в последний ее миг. Что ищут на земле люди? Что ищет он, Яков, сын кривого Прокши?

— Явился однажды господь перед умирающим с голоду, — снова стал рассказывать Зашиба, — сказал: — Что ты хочешь? Проси — и я тебе дам.

— Дай хлеба, — сказал умирающий с голоду.

— Только хлеба? — удивился господь бог. — Проси лучше золота. На золото ты купишь еды сколько хочешь.

— Дай золота, — сказал умирающий с голоду.

— Только золота? — спросил господь. — Я могу дать тебе власть, и все богатства твоих подданных будут твоими.

— Дай власть, — взмолился умирающий с голоду.

— Ты просишь только власти? — усмехнулся господь. — Все можно взять силой, кроме любви. А любовь дороже всех сокровищ.

— Дай мне любовь, — запросил умирающий с голоду.

— Я могу тебе дать любовь, — сказал господь. — Но разве только в одной любви счастье?

— Дай мне счастье! — закричал умирающий.

И умер с голоду.

Зашиба вздохнул:

— Вот так.

Яков взял Зашибу за плечо и заглянул в лицо.

— Правду говорят, что ты сын колдуна?

— Правду, — серьезно ответил Зашиба. — А про правду и кривду тоже есть такой сказ...

— Хватит, — остановил его Яков. — И вкусным отравиться можно. Если без меры потчуют.

— Не-е, — замотал головой Омелья. — От переедания еще никто не умирал.

А утром, когда собирались в путь, Омелья вдруг захотал:

— Ему, недоумку, кроме хлеба и не надо ничего. А он, вишь ты, счастья захотел.

Пока добрались до Устюга Великого, маленького городишки, из-за которого шли раздоры у новгородцев с суздальским князем, пала зима.

Переснарядились по-зимнему. И снова студеный ветер сушит щеки, а рубаха мокра от пота.

Падает медленный снег на черные огнища на местах ночевок, падает на широкий лыжный след, уходящий вверх по Вычегде. Кружится над истоптанным болотом, где волки рвут брошенную ушкуйниками голову сохатого и хватают залитый кровью снег; над землянкой охотника-пермяка, где причитают женщины, потому что чужие люди на лыжах унесли с собой весь запас рыбы и мяса.

Парма... Тайга... Есть ли ей конец на земле? Тишина и снег, расписанный следами зверюшек и птиц. Чудится, что где-то в ее глубине, за дремлющими елями откроется вдруг хрустальное царство мороза и лешего.

В верховьях Вычегды, близ волоков к Печоре и Каме, стоит почерневший домишко с изгородью. Видимо, это и есть Помоздинский погост. Яков еле сдержал себя, чтобы не побежать к нему во весь дух.

Избенка была пуста, с заиндевелыми внутри стенами и запахом гнили. Столешницу выгрызли крысы, в углах бахрама тенет и копоты.

А вокруг — ни следочка.

Ушли от избы подальше, стали рубить шалаши и ноды. Нарочно весело и шумно, чтобы забыть запустенье и холод покинутого жилья.

Хлещет тишину топорный перестук. Мягко падают, прошуршав, снежные шапки с еловых лап, и долго не оседает колючая белая пыль. Мелко вздрагивают ветви. И вдруг тяжелое дерево, словно выпрямившись от боли, замрет и рухнет со свистом, ломая мерзлые сучья.

Яков думает о Помозде и его сыновьях. Вернулся к избенке, постоял, сняв шапку, и поклонился ей, перекрестившись. Земля — мачеха. Куда ни беги — везде мачеха.

Вернулся к ушкуйникам притихший, будто враз осунулся и потемнел лицом. Омеля спросил:

— Ведь мы того охотника косоглазого, что повстреча-

ли, ограбили. Все, как есть, унесли. Сгинут теперь его ребяташки. И он.

Омеля знал, что такое голод. Яков зло ответил:

— Ну, сгинут, тебе что за дело? Мы с тобой путь прокладываем господину Великому Новгороду. Понял?

Савка врубался топором в толстую пихту. Рубил с остервенением, ухая при ударах. За ворот набился снег и таял, стекая струйками по спине.

Кто-то подошел сзади. Савка оглянулся — Яков. Тихо, будто в шутку, сказал:

— Тяжела у тебя рука, Савка. Не доведись под нее попасть ненароком.

У Савки прошел по спине озноб. Стиснул зубы и отвернулся. Неужели чувствует Яков недоброе?

Ночь шла белесая и теплая. Дым от костров стелился низко, как полоса тумана, и шипал глаза.

— Правду говорят, что в Югре люди рогаты и с песьими головами? И будто через дыру в скале торги ведут? — спросил Омеля.

— Дурной ты, — выругался Яков. — Лучше спи, авось морозец совсем спадет.

— Пошто?

— Храпу твоего не выносит: тает, как пар.

У костра прыснули. Яков не смеялся. Омеля потерял, не зная, обижаться или нет. Сказал:

— Напоперек спать не буду.

Ратники повалились со смеху.

Омеля постоял, плюнул и отошел.

Ночью Савка подполз к нему. Омеля лежал на пихтовой хвое, забросив руки за голову.

Белесая тьма колыхалась меж елей, выползала из-под хвои. Лес стал гуще и плотней придвинулся к костру. В вершине березки запутались звездочки и беспомощно

помигивали. Из темноты доносились шорохи. Казалось, кто-то осторожно бродит вокруг.

«Фу-бу! Фу-бу!» — по-страшному ухнуло в тайге.

Омеля вздрогнул, прислушался.

— Леший.

— Он, — шепнул Савка. — Заведет нас Яков в самые его лапы.

— Не должен, — недоверчиво протянул Омеля. Помолчал и добавил:

— Ну и жутко. Будто мы воры — в чужом терему хоронимся.

«Фу-бу! Фу-бу!» — снова повторилось в тайге.

— Шубу просит. Спросить у Якова, да бросить ему шубу, лешему-то.

— Придумаешь! — вздохнул Савка. — И так косится на тебя Яков. Говорит: лопаешь за четверых, а в работе не тароват. Посмешки-то не зазря устраивает.

Савка увидел, как сузились глаза Омели, как заходили желваки на скулах.

— Не тароват, — ворчал Омеля, — да я, да я... — Он сжал кулаки и потряс ими.

«Фу-бу! Фу-бу!» — совсем близко проухал голос.

Омеля поднялся — большой и грозный, постоял и взялся за топор.

— Я им покажу — не тароват. Самого лешего за шиворот приволоку, — вдруг выпалил он. — Все увидят! Эй, леший! На тебе шубу!

Тяжелыми шагами двинулся Омеля в белесую тьму.

С рассветом веселилось все войско. Виданное ли дело, с топором на филина идти?

— Он тебя в зад не клюнул? — приставал Яков к Омеле. Тот молчал и зло ворошил палкой в костре.

«Заело», — подумал Савка и ухмыльнулся.

Потеряли ратники счет дням и неделям. Истомились,

устали. Распухли помороженные лица. Кончились сухари. Яков подбадривал:

— А у Югры соболей да серебра — хоть плотину крой. Глаза разбегаются.

Вел Яков людей по приметам на берестяном чертеже.

Однажды, чем-то встревоженный, отошел от стоянки. Кто-то лохматый метнулся к нему из-за ствола и облапил сзади.

И рухнул, подмяв под себя. Огромный бурый медведь-шатун с рассеченной головой лежал на Якове, а над ним стоял Савка. Помог он Якову выбраться из-под туши.

— Не шмякнул он тебя, атаман?

— Зашиб малость. Не забуду руки твоей, Савка, — пикнуть зверю не дал. Век не забуду.

Сбежались ратники. Савка отошел и принялся свежевать зверя.

Яков потряхнул головой и подмигнул Омеле:

— Хочешь, мы тебя над Югрой князем посадим?

— Ни к чему, — огрызнулся Омелья.

— И правда, ни к чему. Проешь все царство за один прием.

Омелья покраснел, губы его скривились.

— Не тароват, говоришь! Едой попрекаешь? — Он двинулся вдруг на Якова.

Тот улыбался. Омелья мрачно огляделся вокруг.

— Уйду.

Первый раз увидели воины этого добродушного детину в такой ярости. И с чего? С шутки рассвирепел.

«Самое время не дать ему остыть, — смекнул Савка, — самое время».

На стоянке, будто ненароком, он бросил ему:

— Замыслил что-то атаман. Ласков стал. Неспроста.

Омеля молчал. Савка не знал, с чего начать разговор.

Вздыхнул, потерев бороду.

— Я бы на твоём месте не простил обиды, — снова начал он. — Яков думает, что мы без него пропадем. Да не пропадем! Дорога теперь известная.

Омеля обхватил колени и сидел не двигаясь.

— А что Яков супротив тебя? — пел Савка. — А ничто. А тайга — она все укроет.

Омеля удивленно покосился на Савку, поморгал светлыми ресницами.

— Ты о чем это?

— Тайга, говорю, все укроет.

— Укроет...

Омеля насутился, потер лоб грязной рукавицей. Спокойно спросил:

— Ты вроде бы про смертоубийство?

Савка похолодел. Он увидел, как поджались у Омели губы. Непонятно устроена у него голова: вычудит такое, чего не ждешь.

— Какое смертоубийство? — заюлил Савка. — Перекрестись, Омеля. Я говорю, тайга — она страшная, все пропасть можем. Придумаешь — смертоубийство! — И задом, задом попятился от Омели. Тот провожал его тяжелым, подозрительным взглядом.

«Пошто он мне про обиды толкует? — соображал Омеля. — Со своей корыстью толкует? Тайга — она все укроет... Не добро у него на уме...»

Трое ушкуйников ушли по следу лосиного стада и не вернулись. Ждали их день — и двинулись дальше.

Пал мороз, обжигавший горло и легкие. Воздух шуршал при дыхании.

Под снегом и льдом была топь. На широких сугробах-

кочках стояли чахлые промерзшие сосенки. По сосенке на каждой кочке.

Молодой ратник, протаптывавший путь, вдруг взмахнул руками и провалился под снег. Он барахтался в черной жиже, она дымилась белым густым паром и расплзалась, съедая снег. Ушкуйники отступали.

Ратнику бросили вывороченную сосенку. Он не мог ухватиться за нее побелевшими пальцами, вцепился зубами. Глаза у него были желтыми и безумными.

Он окунался в топь без крика. Вода подернулась ледком, а под ним колыхались белые пузыри.

Теплые ключи!

Ушкуйники уходили от этого места торопливо, не чувствуя усталости. Пока не пала ночь.

А с нею пришел страх, от которого немели плечи и мутился разум.

На кочках горели маленькие костерки, и люди жались друг к другу — только бы не уснуть, только бы не уснуть.

Савку знобило. Он сжался в комок, чтобы сохранить тепло. Завел непутевый атаман. Никому не выйти из этой пустыни, нет ей конца. Так пусть сперва сам хлебнет черной водицы. Сейчас людям только шепни, взбудоражь их — разорвут Якова. Но Савка медлил.

Слипались веки.

Виделось ему, будто в сенокосный зной, разомлев от работы и жара, прилег он под копной у дороги. А сынок Тишата поднес к его губам жбан с ледяным квасом. У Тишаты облупленный от загара нос и широкие, как у матери, белые зубы. Он смеется, квас пахнет сухими цветами хмеля. Савка силится улыбнуться и не может. Лень и дремота растекаются по телу.

Как в маленькой ямке сжались маленькие люди, а над ними опрокинулось огромное звездное небо и тишина.

Ужас и трепет проникали в сердце от этой огромности мира и беспредельного холодного безмолвия.

Яков запел молитву.

Он был похож на колдуна, на призрак — у сиротливо-го костерка, с возведенными к небу руками.

Ушкуйники, охваченные глубоким чувством торжественности и одиночества, глухо повторяли его слова. Они стояли на кочках у маленьких кострищ, закутанные до носов. Это была странная молитва — христианскому богу и водяному, взявшим в жертву белозубого ратника, звездам и смерти, безмолвию и далеким новгородским людишкам, спавшим в тепле.

Она была больше похожа на тоскливый стон, на немую песню.

Яков сорвал голос. И тогда запел Зашиба, сын колдуна Волоса:

Во долинушке — злой пустыне —
Не лебедушка криком кричит —
Беспортошные люди-ушкуйники
Из полона-неволи идут.
Ты укрой меня, злая пустыня,
Чтобы враг меня не настиг,
Он мне вырежет печень и сердце —
Встрепенется оно на ноже.

Яков хрипло приказал собираться в путь.

Они будут идти и день и ночь, пока не пройдут эту пустыню.

Иначе — смерть.

Беспредельным и синим было небо в холодных огоньках звезд. И густая краснота углей на кочках казалась холодной.

Войско уходило в темноту, в холод.

Через два дня, когда ушкуйники вышли в чистый сосновый бор, Яков позволил большой отдых вконец измотанным людям.

ЛЕШИЙ

Якову приснилось, будто пузатая, в его рост жаба вылезла из-под корня и уставилась на него тусклыми, как влажные камни, глазами. У нее были вывороченные губы и темный горб. Она коснулась его щеки теплой шершавой лапой. Яков стряхнул ее и открыл глаза.

Громадная губастая морда склонилась над ним и шумно втягивала воздух. Широкий, как лопата, рот качнулся на фоне темного неба.

Яков на миг онемел. Вдруг стало жарко, а под лопатками побежал озноб.

Морда вскинулась вверх, и тень громадного зверя метнулась во тьму. И будто еще тень — человека — исчезла за нею. Они убегали, ломясь сквозь заросли, тяжело подминая снег.

Яков схватил топор и вцепился в рукоять до боли в пальцах. Ему показалось, что стоявший над ним зверь был невероятно огромным.

Тускло шаяла нодьа, постреливая искрами в снег.

Тишина отдавалась в ушах тонким звоном. И вдруг застонал кто-то, заухал и смолк, прислушиваясь. Осторожно пошел вокруг лагеря: хруст-хруст. И снова тонкий и резкий свист метнулся из ночи. Казалось, что свистят со всех сторон.

Ушкуйники сбились группами и не смели дышать. Были напряжены, как и тетивы их луков. Вот он, настоящий леший.

Всю ночь хохотал и свистел леший. То продирался сквозь чащобу, то осторожно крался в мерцающем мраке. Кричал:

— Уходите! Уходите!

С рассветом он ушел.

Ушел торопливо, будто убегал. А может быть, и притаился.

Разговаривали шепотом.

Проснулся Омелья и не мог понять, чем встревожены люди. Настоящего лешего он проспал. Но ушкуйникам было не до смеха.

В тайгу уводили глубокие следы сохатого, а рядом шла свежая широкая лыжня. Слово охотник прошел за лосем.

— Вдвоем был с лешачихой, — сказал Савка.

— А может, он сразу два облика может принять — звериный и человеческий, — шепотом ответил высокий ушкуйник, заросший бородой до глаз.

— Руки, говорят, у него длинные, до пяток, и лохматые.

Ушкуйники роптали.

— Закружит.

— Здешний он, не наш.

— Из-за Омели осерчал, что с топором на него ходил.

— Ясное дело. Ежели крови лизнет — отступится.

Омелья, прижатый к тонкой осинке, непонимающе моргал. Лица ушкуйников были красны, они напирали, не поднимая глаз, будто хотели боднуть.

— Чаво вы, — хохотнул Омелья. — Я ж ничаво...

— Еще и ржет!

Савка стоял позади Омели. На него напирал и подталкивал дядька с заросшим до глаз лицом. Наплыл на глаза красный туман, только клочок белого меха, торчащий из прорванной на плече Омелиной шубы, видел Савка. Еще миг — и Савка вцепится в этот клочок. Или в шею. Не сознавая, что делает.

— Братцы, смотрите, кого я поймал?

Яков держал за уши зайца. Тот трепыхался и вращал

глазами. Яков бросил зайца в толпу, зверек подпрыгнул чуть не до носа Омели, выскочил из-под чьих-то ног и метнулся под ель.

Омеля вдруг остался один у осинки. Ушкуйники прятали глаза, спешили убраться.

— Я вам покажу самосуд, — со сдержанной злостью произнес Яков. — Слышите? Кто трусит — не держу. — И захохотал. — Рожа у тебя, Омеля, как у того зайчонка. Пойдем-ка мы теперь с тобой вместе к лешему в гости — авось, горячих щей подаст.

Приказал Яков достать по два сухаря из тощих котомок и оставить на поваленном кедре.

Двинулись по следам лешего. Лыжня шла по вершинам овражков, лосиный след иногда отходил. Зверь останавливался у молодых осин и объедал побеги. Станный леший. Не слышал Яков, чтобы лесной хозяин грыз осиновые ветки и молодые побеги сосны.

Тайга молчала. Снег был искристым и голубоватым. Вдруг вышли на утопанную лыжню.

— Наша лыжня, — сказал Яков.

Было видно и кострище, где они ночевали.

— Закружил, проклятый.

На лыжне стоял рыжебородый человек с голубыми глазами. Он несмело двинулся навстречу и протянул руки. У него вздрагивали губы:

— Братцы, русичи!

Он обнял Омелю и заплакал, уткнувшись в его грудь. Омеля попятился. Яков спросил:

— Кто ты?

Рыжебородый смотрел на него сияющими глазами и шептал:

— Свои, родные...

— Далеко до Югры?

В глазах рыжего метнулся испуг.

— Уходите, — мрачно потупился он. — Зачем грабить нищих?

Есть на Вятке два поселения — Хлынов и Никулицын. Их срубили беглые из Суздальской Руси. Из Хлынова и ушел рыжий Ждан с женкой искать обетованную землю. С верховьев Камы спустились они до быстрой студеной реки, где начинались горы. Занедужила женка и померла. На высоком камне, откуда всюду видать, выдолбил Ждан могилу и поставил желтый смолистый крест. И сам тут остался.

Однажды старый югорский охотник Вах увидел на березе медведя. Достал тяжелую стрелу, но вдруг медведь заругался и затряс рыжей бородой. Перед ним на суку шевелился, как живой гриб, рой диких пчел.

Рыжий потряс над ними мокрым веником и стряхнул в мешок.

Спрыгнул и заплясал под березой. У него было перекошенное распухшее лицо и совсем заплыл один глаз. По рубaxe ползали быстрые пчелы.

— Эй, — позвал он Ваха. — Чего рот разинул?

Вах несмело подошел. Намотав на руку шапку, стал сбивать пчел.

Потом они хлебали у костра уху, смеялись и хлопали друга друга по спине.

Рыжий умел делать железо и ткать из крапивы полотно, ведал, каким потом надо полить каменистую землю, чтобы стала рыхлой и родила рожь. Он умел приучать диких пчел и вырубать богов из мягкой липы.

Он поставил избу с крытым двором на лысой релке и выменял у Ваха двух собак на топор. Вах прищелкивал языком и не мог нахвалиться дружбой с рыжим чужаком.

Шаманка Тайша, носатая старуха, сказала:

— Куда пришел один — придут и другие.

Старый Вах замахал на нее руками:

— Он сделал ручным лосенка и хочет пахать на нем землю, когда тот вырастет. Он научит нас делать железо и хлеб. Пусть он будет нашим другом.

Князек племени сказал:

— Пусть жжет сигнальный костер, если увидит пришельцев. И платит десятую часть от меда, хлеба и добычи.

Рыжий Ждан выходил на скалу, сидел на камне возле креста, разговаривал с могилой, смотрел туда, где засыпает солнце. Он ждал своих. Пять весен и зим.

Много ли человеку надо? Ключок поля и баньку, чтобы пропарить уставшие кости, студеной ключ под горой и уверенность, что ты сам себе хозяин. А еще — живую душу рядом, ибо при одиночестве не узнаешь свободы.

Югорские охотники пугливы, как дети, и подозрительны, как старухи. Поклоняются женщинам, не в силах постигнуть тайну рождения ребенка, почитают серебро, луну и медведя и приносят жертвы рубленным из кедра идолам. Как дети.

Однажды увидел рыжий Ждан далекие костры и людей. Это было новгородское войско. Ждан не зажег сигнальный костер. Ждан ухал лешим вокруг лагеря. А потом вышел навстречу.

— Земля здесь не мерена, — сказал он сгрудившимся ушкуйникам. — Вместе обживать станем. Югра, если к ней по-соседски, не тронет. На первый случай избенка есть у меня, баня.

Новгородцы слушали молча, у каждого есть она — мужицкая тяга к вольной земле.

А семьи как? А дома?

— Правда, что серебро Югра лопатами гребет? — спросил Савка.

— Про то не ведаю, — нахмурился Ждан.

— Для чего ты все это рассказываешь? — прищурился Яков. — Чтоб смуту в людях посеять? Кто тебя подослал?

— Никто не слал. Сам зову — оставайтесь добром, здесь воля.

— Ишь, — усмехнулся Яков. — Леший. Ведь это ты нас пугал? Ночью. Ты закружил, чтоб с дороги сбить?

— И верно, — насторожился Зашиба. — Вона сотоварищ его за елушником.

Над молодыми елочками покачивала рогами лосиная голова.

Ушкуйники много дней не ели мяса.

— Лоська, беги!

Три стрелы впились в шею сохатого. Он захрапел, вскинувшись на дыбы. В шею вонзилось копье и еще несколько стрел. Кровь хлестнула в несколько широких струй. Сохатый упал на передние ноги и выворотил рогом пень, бросился вперед, где только что стояли люди. Ждан шел ему навстречу, бормоча:

— Лосенька, лосенька.

Сохатый смял его и отбросил копытом. Он топтал сумки и лыжи, бил рогами в ели, на которых спасались новгородцы, метался и хрипел, поливая снег широкими полосами крови. Наконец встал на колени, зашатался и опрокинулся.

ЗОЛОТАЯ СЕРЬГА

Яков решил подняться на вершину ближайшей горы, осмотреться. С ним увязался Савка.

На лысой плоской вершине снег был плотен, как наст. Он навис козырьком над пропастью. Савка глянул вниз и отшатнулся — далеко внизу, как темная травка, щетинился лес. Сорвись — и разобьешься не сразу. Яков стоял близко от обрыва, придерживаясь за куст кедрового стланика.

Гудел ветер — здесь всегда гудит ветер. Внизу плыли лохматые, как дым, облачка. Они цеплялись за вершины кедров, и казалось, что гора дымится. Солнце было очень ярким — слепило до боли в глазах, а проплывшая тучка — неестественно синей.

— Вон югорские городища, — показал Яков.

Голубоватые горбы гор сливались с небом. Внизу, как дорога меж скал и леса, виляла река. Далеко на севере, где черный лес становился синим, были видны дымки.

Яков улыбался.

— Земли сколько.

Он снял лохматую собачью шапку, подставив ветру лицо. Вырвал серьгу из уха, медленно размахнулся и бросил ее, как камешек, в солнце. Она сверкнула над пропастью, и Савка подался за ней. У него тряслись колени.

— Ого-го! — хрипло кричал Яков и хохотал.

— Не пойму тебя, атаман. Чудишь... — сказал Савка.

— Тоскливо, если не чудить.

Савка смотрел на спину Якова и чувствовал, как надуваются на шее жилы. Он ненавидел Якова люто и страшно. Баловень. Савка ползет к богатству, обдирает ногти. А тот швыряет золотом и хохочет. Толкнуть сейчас... Да, самое время исполнить боярский наказ.

Потными и тяжелыми стали руки.

— Вольно здесь, — сказал Яков.

— Вольно, — беззвучно шепнули посиневшие Савкины губы.

Он вытянул руку и толкнул в широкую спину. Дрогнула рука, не силен был толчок.

Яков, качнувшись, шагнул вперед и упал на спину, вдавив локти в снег. Ноги висели над краем снежного карниза.

— Держись!

Скачками бежал к обрыву Омеля. Карниз хрустнул и разошелся трещиной. Яков сильнее вдавливал в него локти.

Савка отступал, не помня себя. Видел, как упал Омеля, схватив Якова за ворот. Карниз рухнул, и Яков повис над пропастью.

Савка бежал с горы, проваливаясь, падая, продираясь сквозь буреломы и заросли. Бежал, не зная куда и зачем. Только бы дальше от своих, от Омели. Он потерял шапку, разбил в кровь лицо.

Опамятовался он у реки.

Стал жадно хватать пригоршнями снег и есть. Потом упал в снег и застонал. Громко и отчаянно, как раненый зверь.

На том берегу тоже кто-то громко простонал.

Савка замер.

На другом берегу была только серая изъеденная трещинами скала.

Тихо.

Жутко.

— Наваждение! — ругнулся Савка.

— Ждение, дение, ение, — повторилось на том берегу.

Савка торопливо и крадучись стал отходить от колдовского места.

Он уходил к югорскому городищу.

В ЮГОРСКОМ ГОРОДИЩЕ

Крытый берестой дом югорского князька с двумя крохотными оконцами стоял отдельно от других, на широкой площадке, окруженной рвом.

На Савку бросились лохматые лайки, но сопровождавшие его югорские охотники отогнали палками злобных псов. У дома стояла старуха с круглыми глазами, закутанная в меха, — шаманка Тайша. Она обошла Савку кругом, пристально осматривая, и приказала войти.

В доме полутемно. На земляном полу выложен очаг из серых камней. В нем тлеют уголья, из котла над очагом идет вкусный мясной парок. У Савки дрогнули ноздри, и он проглотил слюну.

У стены устлана рысьими шкурами невысокая лежанка. С нее поднялся маленький старый князек с редкой бородкой и черными, как спелая смородина, глазами. Разрисованная красными узорами куртка, пошитая мехом внутрь, подхвачена серебряным пояском. На груди у князька ожерелья из серебряных монет.

Савка поклонился князьку, коснувшись пальцами земли.

Шаманка Тайша присела на корточки у очага и смотрела на уголья.

У князька затряслись губы. Он что-то спросил Савку на непонятном языке и, подумав, повторил, неуверенно выговаривая каждый слог:

— Кто ты?

— Прежде спроси — зачем пришел, — дерзко ответил Савка.

— Зачем пришел? — спросил князек.

— Как друг, — ответил Савка. — Идет к тебе войско новгородское, за данью.

Князек обхватил голову и заметался:

— Ай-ай, беда идет.

Монеты у него на груди мягко звякали.

Савка струсил.

Уходили последние надежды. Он торопливо выпалил:

— Невелико войско-то. Полторы сотни топоров осталось. Да и притомились люди — их теперь голыми руками взять можно. — Он вытянул свои ручищи с узловатыми цепкими пальцами.

Князек остановился, что-то соображая. Недоверчиво глянул на Савку. Тот загреб руками воздух, сжал кулак и придернул им:

— В мешок заманить и стянуть.

Князек покачал головой.

Шаманка резко вскочила и уставилась на Савку круглым черным глазом.

Он оробел, голова вжалась в плечи.

— Наши люди доверчивы, ежели с ними ласково...

Князек опустил на лежанку и долго смотрел так, медленно покачиваясь. Шаманка ткнула Савку пальцем в грудь и захохотала:

— Не бей первых оленей — они приведут стадо.

У нее были редкие желтые зубы и темное, похожее на сморщенный гриб, лицо.

Югры держали совет. Самые старые и достойные охотники пришли к очагу князька.

— Вах привел Рыжего, — сказала Тайша. — Рыжий привел чужаков. Пусть ответит Вах.

У Ваха были ясные глаза ребенка. Он сказал:

— У сохатого не бывает клыков. У Рыжего не было хитрости.

— Он не зажег сигнальный костер, — прищурился князек.

Вах не ответил.

— Рысь не дерется с медведем, — сказал самый старый охотник. У него слезились глаза и тряслась голова. — Пусть возьмут свое и уходят.

— Они ограбят святилища! — закричала шаманка.

— Это так, — сказали старики.

А самый старый из них сказал:

— Крот не знает солнца, а гуси летят и видят всю землю. Страх не учит быть сильным. Дайте пришельцам что они просят, но пусть расскажут они, почему народы за стеною леса сильнее нас.

— Ты хочешь пустить волка к оленям? Они перебьют нас поодиночке и сожгут городища, — зло насупился князек.

— Это так, — сказали старики.

А самый старый из них ответил:

— Не так. Пока мы будем жить, как медведи в берлоге, к нам будут ходить охотники с рогатинами. Много веков назад югры были единым народом и кочевали в степи, как вольные кони. Они никому не платили дани. Но пастбища скудеют, и человеки мечтают о лучшем. Югры поклонялись солнцу и пошли вслед за солнцем в страну, куда уходит оно ночевать. Они продирались через леса и болота, а солнце все дальше и дальше уходило от них. За то, что они дерзнули его догнать, леса разделили народ на малые племена. Мы деремся друг с другом из-за лучших земель и боимся чужого глаза. Все скопленные богатства кладем к ногам золотой женщины. А другие народы ставят большие города, меняют друг у друга товары. Они, как юноши, растут и мужают. А мы дряхлеем и старимся. Пусть идут с пришельцами в их земли наши и учатся быть молодыми.

— К старости люди становятся детьми, — фыркнула шаманка Тайша. — Ты хочешь нарушить заветы богов

и предков? Они жестоко отомстят нам за дерзость. Все будет так, как хотят они!

И старуха трижды ткнула пальцем на небо и горы.

...Новгородцев удивила странная тишина в городище. Они взломали ворота.

Тепла была зола в очагах, лабазы были распахнуты и пусты. Возле домов валялся нехитрый скарб.

Ушкуйники метались из дома в дом — пожить здесь было нечем. Кто-то ободрал со стены рысью шкуру, кто-то нашел связку мороженой рыбы, бронзовые подвески и пояс.

Из-за частокола испуганно выглядывало оранжевое солнце. По багровому снегу и стенам легли резкие тени.

Яков с недоумением осматривал низкие, похожие на длинные землянки, дома. В каждом, наверное, человек по сорок живут. И это хваленая Югра, о богатствах которой складывают легенды? Куда же они пользуют серебро и меха, ежели даже поселения их похожи на бедные новгородские деревни?

Рыжего Ждана положили у очага, раздув огонь. Над ним хлопотал Зашиба. Ждан кричал от боли и дрожал. У него было разбито плечо и смяты ребра.

— Что замышляет югра? — спросил Яков.

Ждан отвернулся. Яков подсел к нему.

Час назад Рыжий рассказывал ему о братьях Помоздиных. Ждан их не видел и не знает. Только слышал, будто ушли они за Каменный пояс, — сказывают югры, что есть там счастливая земля, где люди не знают вражды.

— Зачем вы пришли сюда с бедой? — заговорил Ждан, пытаясь приподняться. У него клокотало в горле. — С бедой и колчанами, полными стрел? Незнаемый

народ — все равно как не человеки, нет к нему жалости. А ты приглядишься к нему, узнай, пойми. Югру обступают леса и горы, из болот выходит гнус, с Полunoщного моря и летом налетают вьюги. Здесь всего вдоволь — зверя, рыбы и птицы. У Югры не хватает сил раздвигать лес, нет умения делать землю кормилицей, добывать железо и медь...

В слюдяном оконце метнулся алый отсвет — кто-то с досады запалил дом.

У Якова раздулись ноздри — разгулялась вольница! Он вдруг понял, что уже не в силах ее унять, не в силах сдерживать больше людей. Он почувствовал усталость. Все стало безразличным. И югорские соболя, и дом — все на свете. словно пришел не туда, куда стремился.

— Останови стрелу на полете, — усмехнулся он Ждану. И выбежал из дому.

Пламя расплзлось по углу дома, шипело, облизывая снег на низкой крыше.

Яков приказал выступать. Отозвал в сторону Зашибу.

— Коли со мной что случится — на тебе все заботы. Сохрани людей. Обратный путь будет еще тяжелее.

— С чего приуныл, атаман?

— Так. Повитуха мне нагадала когда-то греть костями мерзлые камни чужой земли.

Яков был мрачен, подавлен.

Дым пожарища стелился низко по зубьям частокола, скрывая оранжевое солнце.

Второе городище тоже нашли покинутым. Заночевали, к полудню подошли к третьему.

Оно стояло на крутом холме в изгибе реки.

Дважды пытались взять городище приступом, но круты были склоны, высок частокол. Югры защищались отчаянно, их тяжелые медвежьи стрелы с медными наконечниками пробивали щиты из толстой кожи и дерева. Нов-

городцы отошли, потеряв полтора десятка ратников. Похоронили их в мерзлой земле, насыпав высокий снежный курган.

Яков, еле сдерживая ярость, повелел обложить городище, чтобы взять югру измором и голодом. Часть людей отослал зорить мелкие охотничьи становища, чтобы добыть мяса и рыбы. На случай долгой осады стали готовить землянки и крытые шкурами шалаши.

Минула неделя, другая. Ночами над частоколом колыхались факелы — югры были готовы и к ночному штурму. Тоска и уныние поселились среди новгородцев. Гасли надежды на возы серебра и мехов, неодолимым казался теперь и путь к дому.

Рыжий Ждан чуть оправился, мог уже ползать, волоча по снегу омертвевшие, неживые ноги. Яков выпрашивал его о здешнем народе, перебирая бронзовые югорские украшения и бляшки. Затейливой, искусной работы были эти бляшки, изображавшие зверей и человеков. Вот степной орел, терзающий медведя. Вот женщина с младенцем во чреве — она стоит на бобре, над нею распластала крылья птица, а по бокам двое юношей с лосиными головами.

— Югры читают по этим бляшкам свои предания, как мы по книгам.

Сердился Ждан, если Яков подшучивал над югорской верой.

— Всяк народ по жизни избирает себе богов. Югры зря зверя не тронут, потому что каждый зверь священен. Медведь, к примеру, был сыном верховного бога Нуми-Торума и жил на небе. Но выпросился он у отца на землю. Пятки у него голые и стали мерзнуть зимой. Отец дал ему огонь. Однажды грелся медведь у костра, а люди увидели огонь и решили его похитить. Они убили медведя и унесли с собой огонь. С тех пор медведи на зиму в

берлогу ложатся, чтобы пятки не отморозить. Когда югры сейчас убивают медведя, они устраивают празднество, винятся перед его мертвой головой и поют священные песни. А перед этим вырежут у головы язык и уберут глаза, чтобы дух медведя не мог их видеть и не мог пожаловаться богу-отцу...

Сказывал Ждан и о золотой югорской бабе. У женщины этой во чреве ребенок, а во чреве ребенка еще дитя. И означает это вечность жизни и рождения. Путь к идолу знают только старейшины и шаманы, не дано ее видеть простому человеку, а тем более иноземцу.

— Я найду золотого идола, — сказал Яков.

Ждан только грустно усмехнулся.

Шла пятая неделя. Прибыли послы от югорского князька. Старый охотник Вах передал Якову серебряное блюдо с монетами и украшениями, связки собольих шкурок.

— Югра много думал и решил покориться, — Вах смотрел себе под ноги, словно чем-то обижен. — Югра готовит дань, Русь подождет.

Яков и обрадовался и встревожился — не готовит ли князек какой хитрости? В городище начинается голод, но и его воинам не сладко, варят березовую кашу, держатся из последних сил. Случись битва — им не выдержать.

— Хочу видеть Рыжего, — мрачно сказал старый Вах.

Ждан лежал у костра, закутанный в тулуп. Он отвел глаза, когда подошел к нему Вах.

— Ай, у сохатого оказалось сердце хитрой росомахи! И старый Вах поверил росомахе! Ай!

Послы ушли.

Новгородцы оживились, гадая о югорских сокровищах, о близком пути к далекому дому.

А в городище вечерами перед домом князька полыхал костер, и металась вокруг него в диком танце шаманка Тайша.

Сначала она долго курила, сидя на корточках у костра, набив трубку кусками сушеного мухомора. У нее белели щеки, а взгляд становился мутным. И она вдруг начинала скакать и выгибаться. На ней была маска с рогами горного козла. Ленты на ее бубне и поясе металась и вспыхивали в отсветах костра.

Савку усаживали рядом с князьком среди старых югров. У него затекали ноги во время игрищ.

У шаманки был грубый, мужичий голос. Савка не понимал слов. Что-то зловещее было в ее каркающих выкриках.

Э-э, Пор! Ты видел кровь жертвы,
Ты пил ее.
Я говорю тебе.
Пробудись и слушай.
Эта земля принадлежит нам,
Ее пришли грабить.
Иди за тем,
Кто пришел сюда красть.
Сломай ему шею.
Пусть пойдет кровь у него изо рта.
Пусть пойдет кровь у него из носа.
Сломай ему хребет.
Убей!
Убей!
Убей!

— Убей! Убей! Убей! — повторяли воины и тыкали копьями в снег.

Савка страшился подумать о том, что должно случиться.

Разве он виновен, что так запутала его жизнь? Люди запутали. Только один человек понял бы — сынишка Тишата. Если не погиб он еще от хворобы, сверлящей кости.

...Тревожно прислушивались новгородцы к игрищу и песням за частоколом. Слишком долго князек собирает дань. Охватывало отчаянье. Снова прибыли послы, теперь только двое и без даров. Старого Ваха с ними не было.

— Дань приготовлена, — сказали послы, — князек приглашает лучших людей в гости. Просит не брать с собой оружия — на пиру оно не понадобится.

Яков и еще десять воинов ушли с послами в городище. Рыжего Ждана везли на лыжах, как на санках. Он сжал зубы, чтобы не стонать.

У дома князя полукругом у костра на жестких лосиных шкурах сидели князек и старейшины. Новгородцам показали место напротив. И только они присели, югры кинулись на них и скрутили руки.

Шаманка Тайша подолгу смотрела в глаза каждому и хохотала.

— Зачем ты пришел? — подступил к Якову князек. Он сутулился, будто хотел Якова боднуть.

— За данью.

— Почему мы должны отдать тебе наше добро?

— Не мне — Новгороду. Не своею волей мы пришли. Мы — его люди. И за каждый волосок, что упадет с нашей головы, ты ответишь ему.

— Русь, Югра — равные братья. Югра не платит дань! — закричал князек.

Яков ничего не ответил. Только показал на Ждана.

— Его не троньте. Он не виноват перед вами ни в чем.

— Что он говорит? — спросил Ждана князек.

Ждан промолчал.

— Он говорит, что не Рыжий их привел, — сказал Вах. — Это правда, Рыжий?

Ждан не ответил.

В стан новгородцев снова прибыл посол. Один. Он сказал, что мужи новгородские пируют со старейшими и приказали еще тридцати воинам идти в город за данью. Оружие брать не велено.

Новгородцы шли сквозь тесный молчаливый строй югров. Впереди шагал Омея. Шагал широко, уперев руки в бока. Остальные едва за ним поспевали.

Вдруг югры расступились. Омея почувствовал удар в плечо, удивленно покосился — из плеча торчала стрела. Он вырвал ее. Увидел, как рядом упал воин, словно подвернув ногу. Второй, третий...

Омея растолкал всех, выхватил кол из частокола и взмахнул им над головой. Югры отпрянули, побежали. Он гнался за ними с поднятым колом. И вдруг встал. Он увидел Савку. Они встретились взглядами.

Омея не сразу сообразил, что это Савка. Откуда он здесь?

Савка юркнул за дом, за спины югров.

— К войску! — крикнул кто-то из новгородцев.

— К войску! — заорал Омея.

Размахивая колом, он кинулся к воротам и с маху посадил их плечом.

Вдогонку ушкуйникам взметнулись стрелы.

В стан новгородцев добежал Зашиба Волос. Он перекрестился и упал на снег. На брови у него запеклась кровь.

— Измена, — прошептал он и вдруг завопил тонко и отчаянно: — Спасайтесь!

...Омея очнулся ночью. Ему привиделось, что он в жаркой бане и в полушубке в ней сидеть нестерпимо. Он стал сбрасывать полушубок и очнулся от боли.

Перемигивались низкие звезды. Омея не мог понять, где он. Вспомнил Савку. И подумал: «Замерзаю».

На глаза наваливалась дремота, и не хотелось шеве-

литься. Свинцовая тяжесть была в затылке, ныли нога и бок. Он с трудом поднялся, побрел к городищу.

Ему казалось, что идет он очень долго. Где-то лаяли собаки, шумели люди. Омея поднял голову. На взгорье маячила зубчатая стена частокола.

...Югры торжествовали победу.

К костру перед домом князька привели белого коня и подвесили ремнями на четырех столбах. Стали тыкать его ножами и пили хлеставшую фонтанами теплую кровь. Конь отчаянно бился и стонал почти по-человечьи. Подали и Савке глубокую чашу. Он с омерзением отстранил чашу и вдруг увидел, что она серебряная, с чеканной фигурой птицы. Он взял чашу и выпил кровь.

— Ты друг, — хлопал его по плечу князек. — Что желаешь, бери. Югра дружбу платит.

Савка показал на чашу.

Князек покачал головой.

— Шкурки бери. Светлый металл — нет. Светлый металл — Торума, смотрящего за людьми.

Он показал на небо.

Савка подумал: «У них вроде нашего: есть в церкви казна, да не твоя. Поцелуешь позолоту на иконе — и облизнешься».

Князек велел привести Якова и Ждана. Их и еще девять лучших мужей новгородских держали в плену в тесной каморе.

Князек не хотел больше крови. Он отпустит новгородцев. Они должны рассказать в своей земле, что югры сильны и не будут платить дань.

Руки Якова были перекручены узкими острыми ремнями. Вокруг щетинились югорские копыя.

— Войско ушло. И ты иди, — сказал князек Якову. — И этот пусть уходит, — указал он на Ждана.

— Мне некуда идти, — ответил Рыжий. Он лежал на

снегу, приподнявшись на локтях. Яков взглянул исподлобья на князька и увидел рядом с ним Савку. Тот был в югорской одежде с монетами на груди. Яков рванулся, в грудь ему уперлись копья. Савка попятился.

— Кровь наша на тебе, Савка, — тихо сказал Яков.

— Это друг, — обнял Савку князек.

— Не отпускай Якова, — в отчаянии зашептал ему Савка. — Он соберет новое войско и вернется.

Князек отмахнулся: воевать — доля черных людей, а именитые мужи должны уважать друг друга. Пусть уходит Яков.

— Я сделал для тебя добро, — задержал Савка князька за рукав. — Теперь ты сделай для меня. Убей Якова.

Шаманка Тайша сощурилась и захохотала.

— Последнюю волю исполни — покажи золотого бога, — попросил Яков.

Князек подумал и кивнул.

Яков, сын кривого Прокши, был убит. В дальней пещере у ног золотой бабы с монетами вместо глаз. Остальные девять пленников и Рыжий были отпущены.

Савка заторопился в дорогу. Князек его не удерживал.

Прошел в городище слух: какой-то огромный русский бродит ночью вокруг жилищ, губит людей и собак, не дает проходу никому. И будто ростом он выше кедра, а глаза у него, как два костра. Югры накрепко закрывались на ночь и даже собак держали в домах. Кое-кто нашептывал, что от Савки пришла такая напасть.

Но князек не хотел слушать наветы. Савка принес ему победу, он проводит Савку с почестью. По его наказу несли ему югры меха: куньи, соболиные, рысьи, беличьи. Валили и валили к ногам Савки. Тот жадно хватал их, шкурки мягко скользили меж пальцев — темные, пятнистые, дымчатые.

Ночью он не спал. В доме темно. В углу кто-то шелестел и двигался. Савка в ужасе прижался к стене.

— Кто здесь, кто?

— Предатель, — прошептал кто-то из угла.

— Прочь! — завопил Савка.

Распахнул дверь и отскочил к стене. К нему полз на четвереньках окровавленный человек. Лунный свет упал ему на лицо, и Савка узнал рыжего Ждана. Савка метнул в него нож и помчался по дороге. Ему казалось, что Рыжий гонится за ним.

Савка выбежал за ворота и отпрянул назад. Перед ним стоял Омея. Стало тихо-тихо. Омея вдруг начал расти, расплываться. Ледяная рука схватила Савкино сердце и сжимала сильнее и сильнее. Он отчаянно закричал и рухнул. Омея не склонился над Савкиным телом. Он плюнул и пошел прочь.

Было тихо. Темнела зубчатая стена частокола...

Спутаны на земле дороги. Протоптали их люди. Пути племен и народов ищи по могильникам, именам рек и погостов. И по легендам. Мертвые первыми обживают новые земли. За ними идут живые.

...А великий город на Волхове жил широко и крикливо, изредка вспоминая ушедших в далекие земли ратников. «Не было от них вести всю зиму, ни о живых, ни о мертвых, и печалился князь, и владыка, и весь Новгород». Так записал потом, рассказывая о походе, новгородский летописец.

Весна пришла сухая и жаркая, даже ночи не приносили прохлады. И в такую ночь приснился Малуше голос Якова. Он был далек и невнятен, не поняла она слов. Будто сказал он что-то про золотого чужеземного бога и сгинул в черной пропасти.

Пробудилась она — кровавый свет трепетал в распахнутых оконцах. В доме с криком бегали челядинцы — пожар!

«В лето 1194 года зажегся пожар в Новгороде, загорелся Савкин двор на Ярышовой улице, и был пожар зол, сгорело церквей десять и много домов добрых. На другой день загорелись Чегловы улки, сгорело домов десять. И потом более случилось, на той же неделе в пятницу, в торг, загорелось от Хревковой улицы до ручья на Неревском конце и сгорело семь церквей и велико домов. И оттуда встало зло: по всякому дню загоралось неведомо как в шести местах и более, не смели люди жить в домах и по полю жили... И тогда пришел остаток живых из Югры...» — рассказывает летописец.

Восемьдесят ратников остались живы тогда у югорского городища. Многие из них погибли по пути к дому. Изможденные и опухшие, добрались они до Новгорода в те дни, когда великий город постигла великая беда. И не было с ними ни серебра, ни других югорских сокровищ.

Были призваны ратники на посадников двор. Затеяли там ссору меж собою, обвиняя друг друга, схватились за ножи и мечи. «И убили Сбышку Волосовца, и Ногчевидца Завиду и Монслава Поповича сами путники. А другие кунами откупились».

Так окончился трагический этот поход.

• ДИКАРЬ

ПОВЕСТЬ



*Соболь знал, что такое гроза,
Рысый след, клекот ястреба жадный,
Соболь знал человечески глаза,
Те, что властны, умны, беспощадны...*

Н. Кончаловская

ЧЕЛОВЕЧЬИ ГЛАЗА

Соболь знал, что такое гроза. Ослепительно вспыхнув, расколется вдруг низкое ночное небо, и тяжелый грохот, нарастая, помчится к земле. Чудится, что вот-вот налетит он, размахнет, раздавит тайгу.

Замашут ветвями и упруго зашумят старые ели, словно защищаясь от ветра, застонут каждая на свой голос. Из-за ближней сопки нахлынет ливень, косо хлестнет по стволам и утопит стены тайги в яростном плеске и ропоте.

Соболь боялся грозы. Он прятался в глубокое дупло и лежал там неподвижно, слушая стоны ночного леса. Ему казалось, что кто-то большой и невидимый ломится сквозь тайгу и ищет его, соболя. Зверек



плотней прижимался в дупле, готовый вмиг рвануться и выскользнуть из лап неведомого врага.

Но грохот прокатывался дальше, ливень стихал, и соболь, высунув из дупла острую головку, быстро осматривался. В тайге наступала тишина. Нет, не пугливая и тревожная — мягкая шуршащая тишина. По иглам сбегали зеленоватые прозрачные капли. Лес наполнялся густыми запахами хвои, прелых гнилушек и трав. Уже без страха смотрел зверек, как вдали разрывают ночную тьму синие сполохи молнии — это Невидимый уходит все дальше и дальше, гневно урча. Теперь он не вернется, потому что соболь перехитрил его.

Однажды Невидимый чуть не настиг соболя.

Долго не приходили дожди. Оттуда, где прячется солнце, дули жаркие ветры. Повяла трава от зноя, высохло болото за сопкой. Даже птицы стали ленивыми, прятались в тенистых зарослях у оврагов и сидели там с раскрытыми клювами.

Только на ранней заре с обильной росой просыпался лес. Потом снова приходили зной и жажда.

Ветер пригонял тучи, высокие, как взбитая пена. Но они проплывали мимо, не уронив ни капли дождя.

И вот в сумерках, когда казалось, что зной выпил всю влагу из трав, пришел Невидимый.

Над лесом вскипела и заклубилась низкая фиолетовая туча. Она закрыла все небо своими рыхлыми крыльями. А сквозь тайгу с воем и хохотом ломился Невидимый. Он хлестал по небу струями молний, грохот его шагов гулко перекатывался по сопкам.

Соболь затаился в мягком беличьем гнезде на сухой старой лиственнице. Дерево вздрагивало от ударов ветра и гудело то сердито, то жалобно. Метались встрепанные вершины елей. Зверек не знал, куда бежать, откуда ждать опасность. Всюду был этот Невидимый, со всех

сторон ломал он деревья, рвал черное небо слепящим пламенем. Он не видел соболя и злился еще сильнее. В гневе он бросил огонь на соседнюю сопку.

Пробежало робкое пламя по сломленной ели и зарылось в мох, будто спряталось. Но тут же зашипели и взметнулись по елям жадные желтые языки, швырнув пригоршни искр в седые клубы дыма.

Соболь увидел, как бросился огонь на одинокую лиственницу над обрывом. Затрещало и вспыхнуло дерево от вершины до корня. Стало светло-светло. Густой желто-черный дым, закручивая искры, сползал в низину. А выше дымились тучи, ставшие багрово-фиолетовыми.

Ломясь напрямик сквозь густой пихтовник, промчалась обезумевшая лосиха. За ней, отчаянно трубя, выскочил лосенок. Он потерял мать и заметался, жалобно призывая ее.

Соболь цепенел от ужаса. Пахнуло дымом, и зверек захлебнулся им. У него щекотало ноздри, першило в горле. Он чихнул и стрелой вылетел из дупла.

Соболь нырял под обомшелые колодины, карабкался по деревьям, огромными прыжками перелетал овражки и ямы. Мчался и мчался, не разбирая пути. А сзади гнался за ним огненный ураган, швыряя в небо пылающие головни.

Путь соболю преградила река. Широкая и яростная река, которой он раньше не видел. Соболь боялся большой воды — он никогда не плавал. Но страх перед огнем был сильнее всех других страхов. Он прыгнул в воду и поплыл. Его подхватило течением, он изо всех сил работал лапками, продвигаясь дальше и дальше к спасительному берегу. Таяли силы, еще немного, и он совсем ослабеет. Вдруг зверька сшибло течением, закружило и понесло на скалу, выступ которой повис над водой.

Перед серым лбом камня повисла упавшая пихта,

вода чуть задевала ее вершину. Соболь рванулся к этой пихте и схватил ветку зубами. Его повернуло, подбросило, ветка хрустнула. Но зверек успел зацепиться лапой, подтянулся и влез на пихту. Под ним неслась черная вода, вскипая белой гривой у камня. Промчалась уродливая коряга. Ее ударило о камень, она лопнула, перевернулась и исчезла в водовороте.

Больше соболь ничего не видел. Он метнулся к скале, зацепился за куст, потом за расщелину, взбирался выше и выше. И, наконец, выбравшись, снова бежал и бежал, не зная куда.

Было уже светло. Зарево потускнело, над сопками широкой пеленой расплывался дым. Сквозь него еле просвечивало солнце, оно висело за этой пеленой тусклым красным шаром.

А соболь все бежал, пока не расступился лес. Он увидел квадратное поле с одинокой сосной, а за ним покосившуюся избенку. Там жили люди. В другой раз зверек повернул бы обратно и ушел бы подальше от жилья людей. Но сейчас лапы его не слушались, зрение потеряло остроту, ноздри — чутье. Он взобрался на толстый сук сосны и бессильно вытянулся на нем.

К дереву подскочила серая пушистая собака. Она металась вокруг, скребла лапами кору и даже не лаяла, а хрипела, злобно морща нос и скаля белые зубы. А соболь так устал и обезумел от страха перед огнем, что сейчас не мог понять, откуда взялась собака, и словно издали доносился ее хрип.

Из избы вышел человек. Он окликнул собаку. Потом перелез через изгородь и подошел к сосне. Соболь дрожал и смотрел на него неподвижным взглядом.

Отпываясь от собаки, человек принес его в избу и закрыл в подпечку, где хранились ухваты.

Соболь забился в угол и уснул. Он урчал и стонал во сне. Ему виделись вихри искр и огня над ночным лесом. А тот, Невидимый, ломился сквозь чащобу, грохоча и швыряя в соболя огнем. Соболь прижался к дереву и не мог сдвинуться с места. И вдруг Невидимый взвыл и замер. Зверек почувствовал на себе его пронзающий взгляд.

Соболь вскочил и оскалился. На него смотрели человеческие глаза. Грустные серые глаза его хозяина.

— Что мне делать с тобой, дикарь? — спросил хозяин и вздохнул. Соболь заурчал, шерсть на загривке поднялась дыбом.

Хозяин пересадил его в клетку из свежих досок и толстых проволочных прутьев.

Приходили другие люди. У них были разные по цвету глаза и смотрели они по-разному. Одни с любопытством. Другие прищуривались со знанием дела:

— Какой мех! Черный, и седина по нему, словно изморозь.

В третьих светилась зависть:

— Привалит же счастье человеку!

Четвертые... От этих взглядов у соболя холодело в груди. Они горели зеленым огнем жадности. Он метался по клетке и не знал, куда скрыться.

— Продай, — упрашивали хозяина эти люди.

Но хозяин только качал головой: нет.

Соболь ненавидел людей. Мог он перехитрить затаившуюся рысь, увертывался от цепких когтей ночного разбойника филина. Но от неповоротливого медлительного человека, который не умеет ловко прыгать и лазить по деревьям, спастись куда труднее. Человек упрям и хитер, и глаза его бросают смертельный огонь. Так говорил соболю опыт таежной жизни, так говорит выработанный веками в его роде инстинкт.

Зверек не притрагивался к еде, грыз решетку, скреб стены клетки.

К хозяину пришел еще один человек в длинной черной шинели с красными кантами и в красной фуражке с черным верхом. У него было дряблое серое лицо, сизый нос, густые черные усы и маленькие белесые глаза.

— Что вам угодно, господин жандарм? — холодно спросил хозяин.

Но тот, не отвечая, наклонился над клеткой Дикаря и долго его рассматривал. Без любопытства и даже без жадности — с тупым безразличием.

Дикарь забился в ознобе от этого взгляда. Он с остервенением начал выгрызать мех на спине, на лапах. Он не чувствовал боли, рвал свою собственную шкурку.

— Что это он? — удивился жандарм.

Хозяин подхватил клетку, отнес ее в темный угол.

— Дикарек, Дикарек, — успокаивал он зверька.

Жандарм сказал хозяину:

— Ввиду неблагоприятного поведения вашего решили власти изменить вам место ссылки. Поедете на Урал. Вот предписание. Два часа на сборы.

— Я готов, — ответил хозяин. — Вот все мои вещи: книги да соболь.

— Какой соболь? Этот? — не понял жандарм. — Зверей возить не положено.

— Разве есть такая инструкция?

— Гхым, — кашлянул жандарм. Он силился припомнить, есть ли такая инструкция. Подумав, сдался: — Такой не встречал. Ладно, забирайте.

Хозяина звали Костей. Он был худ и долговяз, на остром подбородке кудрявилась светлая мягкая борода. Был он когда-то студентом. В темной своей камерке на чердаке проводил опыты над лягушками и

ужами, хранил в ящике под кроватью разноцветные камешки, которые подбирал на берегу или на дороге.

Из университета был уволен за политику любимый профессор, и студенты устроили бунт. В университет прибыл сам седоусый губернатор. Когда он, выкатив глаза, произносил назидательную речь, из его кармана выполз уж, и губернатор, икнув, свалился без памяти. Началось расследование. У Кости во время обыска нашли не только пресмыкающихся, но такие газеты и брошюры, от которых у жандармов потемнело в глазах.

И сослали Костю в Забайкалье на вечное поселение.

Это было в конце весны, когда в тайге расцветал яркий лохматый марьин корень, а вечерами над деревней тянули утки и хоркали вальдшнепы. Костя обомлел перед щедрой красотой сибирской природы.

Он охотничал, как и все жители деревни, собирал разноцветную коллекцию птичьих перьев и бабочек.

Чалдоны охали от удивления, словно сами они ни разу не видели таких переливов цветов и красок. А между тем прошел слух по округе, что кроме охоты и коллекций он занимается еще кое-чем. Слишком уж далеко и надолго стали уходить местные охотники. Поговаривали, что они помогают побегам ссыльных революционеров. Ясно, тут не обходится без Кости.

И жандармское начальство решило убрать его подальше от растревоженных забайкальских сел, выслать за Урал, к студеной Вишере.

Отправился с хозяином в дальнюю дорогу и баргузинский соболь Дикарь. Не малые дни ехали они, сначала на громыхающей телеге, потом в душном вагоне, на пароходе, снова на лошади.

Соболь то был неподвижен и вял, сутками не притрагивался к пище, то, изголодавшись, жадно набрасывался

вался на мясо, пил молоко, ел хлеб. Но по-прежнему дичился хозяина, больно кусался, когда Костя хотел его накормить.

— Ему палец в рот не клади, — хохотал жандарм. — Как и человеку, впрочем. Люди — они тоже звери по сути и по природе своей, — рассуждал жандарм. — Пугающее всякой тигры. Дай им волю — они все спалят и себя съедят, и землю, как тряпку, выжмут и наизнанку вывернут. Потому и нужна им власть и узда.

— Вы правы, только все наоборот, — ответил Костя. — Тех, кто диктует народу звериные законы жизни, я бы, действительно, не назвал людьми.

— Но-но, — покраснел жандарм и миролюбиво добавил: — О высоких особах суждений не имею.

Они останавливались у речки напоить лошадей. Костя отвязал от седла клетку, поставил ее на пенек, а сам пошел расставить мышеловки и собрать ягод для зверька.

Река, зажатая лесом и скалами, казалась узкой и глубокой. Тихо шумели пихты. Вдали была видна голубая, как далекое облачко, вершина горы.

Зверек с тоской смотрел на лес и тихо стонал. Сотни запахов, родных лесных запахов, щекотали ноздри. Он слышал, как шуршат мыши под березой, сердито свистит полосатый бурундук, шмыгают на пихте юркие синички. Соболь приткнулся к прутьям, напряженно следя за ними.

Костя принес серого мышонка. Жандарм поморщился: погань всякую в руки берет.

Костя приоткрыл дверцу, просунул в нее руку.

Соболь забился в угол и урчал.

— Весь в хозяина, — жандарм ткнул в клетку коротким пальцем. — Его кормят, а он бунтует.

Костя хотел ответить, но соболь вдруг впился ему в

руку. Костя отдернул руку. Соболь метнулся в дверцу, скользнул в траву, и вот уже темная спинка его мелькнула в конце поляны.

— Держи, держи! — заорал жандарм, схватившись за наган.

Костя ударил его по руке, хлопнул выстрел, и пуля сшибла с березы осиное гнездо.

Соболь мчался огромными прыжками. Он уходил на восток, к голубой вершине. Он все еще не верил своей свободе. Настороженно принюхивался и прислушивался к чужому лесу. Здесь была такая же тайга, как и дома, за Байкалом.

Долго стоял Костя у пустой клетки и смотрел на шумящий лес. «Пусть Урал тебе станет новой родиной, Дикарь», — думал он.

Жандарм сунул наган в кобуру.

— Не желает неволи.

— Как и человек, — сухо ответил Костя.

— Поговори у меня! — встрепенулся жандарм.

Они так и заночевали у реки. Костя лежал у костра, смотрел на звезды и думал о Дикаре, о том, что соболиная беда и людское горе рядом идут. И вспомнилась ему история старого якута, которую рассказывали охотники.

ИСТОРИЯ СТАРОГО ЯКУТА

Есть у соболя страшный враг, от которого ему не спастись, не спрятаться. Этот враг — его собственный богатый мех.

...Однажды старый якут убил белого соболя. Он повесил шкурку в чуме рядом с иконой «бога Николы».

Когда якут был молодым, в стойбище приезжал русский поп. Он заставил всех искупаться в реке и очень долго толковывал якутам о русском боге и его святых. Якут никак не мог понять сложные объяснения попа. Тот сказал, что бог создал человека по своему образу и подобию, что бог в человеке.

— Значит, я тоже бог? — засмеялся якут.

Поп побагровел и отвесил ему оплеуху. Потом заставил повесить в чуме икону Николая-чудотворца. Якуту очень понравилась дощечка с нарисованным белобородым стариком, и он решил, что это есть русский «бог Никола».

Он долго ждал, когда «бог Никола» даст ему много оленей и удачу в охоте. Но белобородый старичок смотрел на него выпученными глазами и будто говорил взглядом своим и разведенными руками: не взыщи, мол, не могу.

Так и жил якут в бедности. Жена его и дети умерли в один день от какой-то болезни, и он остался один. Руки его ослабели, взгляд притупился. В стойбище говорили, что лося или медведя ему уже не свалить.

И вот наконец пришла удача. Он приписывал ее даже не «богу Николе», а белому соболю.

Меньше и меньше становилось соболя в окрестной тайге, и если кому-нибудь удавалось выловить зимой штук двадцать — это было счастье. И вдруг соболь появился. Много пришло его. Так много, что из каждой ловушки якут добывал по зверьку. У него было всего пять ловушек, и он проверял их часто.

Через неделю соболь исчез. По тайге пронеслась пурга, и никто не мог сказать, куда исчез зверек.

Якут знал, что соболи не уходят с тех мест, где они поселились, и не мог объяснить, почему и куда они шли, как белки.

У якута было столько шкурок, сколько будет, если сложить три раза по сорок и еще одна. Эта одна была белой и пушистой, как снег.

В стойбище никогда не видели белого соболя. Издалека приезжали самые знаменитые охотники, рассматривали шкурку и щелкали языками. А якут важно раскуривал трубку и, гордо выпятив грудь, рассказывал, что соболя послал ему с неба «бог Никола». Якут сам видел, как с облаков по золотым лестницам спускалось много-много зверьков, а впереди был белый. Каждый раз он присочинял больше и больше подробностей к рассказу и сам верил, что видел все это собственными глазами.

Оставаясь один, якут разговаривал с белой шкуркой, потому что в ней была заключена душа царя соболей.

Как-то ночью зло залаяли собаки, и старый якут проснулся. Огонь в очаге еле теплился, в чуме было темно и холодно. На стене белела пушистая шкурка.

На улице хрустел снег под полозьями оленьей упряжки. Кто-то кричал, отгонял собак. Гулко треснул лед на реке, и звук прокатился по тайге выстрелом.

Якут бросил в очаг несколько сучьев и побежал встречать гостя. Гость был в огромном тулупе, голова по самые глаза укутана поверх шапки платком. На ресницах осела густая изморозь.

— Здравствуй, купца, — обрадованно закричал якут. — Хорошо приехал, купца.

Гость отвязал с нарт мешок и внес его в заваленный до крыши снегом чум.

Присев у огня, он долго расспрашивал якута о его здоровье и здоровье соседей. Потом достал бутыл с огненной водой и налил себе и якуту.

Якут засмеялся, принимая кружку. Он знал, что огненная вода теплом разольется в груди и сделает его счастливым.

Гость налил якуту еще. Тот размяк, блаженно улыбался и тряс бороденкой. И, конечно, рассказывал о своей удаче и белом соболе. Гость, покопавшись в мешке, достал зеркальце. Якут взял круглое стекло и увидел себя. Потом гостя, потом пляшущий огонь в очаге. Он в восторге захлопал ладонями по коленкам: круглое стекло могло показывать душу якута, душу огня, душу гостя. У якута приятно закружилась голова от огненной воды, он был счастлив.

Потом гость доставал и показывал стеклянные бусы, красные красивые ленты, ножи, которые могут складываться напололам. Якут перебирал вещи, прищелкивал языком и хвалил. Ему очень хотелось иметь их у себя. Он сбегал в лабаз и принес связки серебрящихся темных шкурок. Они мягко искрились перед огнем.

И глаза гостя заискрились. Но он равнодушно пощупал шкурки, вернул их якуту, стал прятать вещи. Якут чуть не заплакал, когда в мешке исчезло и зеркало.

— Погоди, погоди, друг, — и начал бросать гостю на колени одну связку за другой.

Скоро шкурки были в мешке гостя, а перед якутом лежала горка безделушек. Он смотрелся в зеркало и смеялся. Гость показал на белую шкурку, но якут замотал головой.

Нет, ее он не сменяет ни за что. В ней заключен добрый дух, который приносит удачу.

К этой маленькой шкурке тянулись все его надежды, его мечта купить ружье и много оленей. Нет, он с ней никогда не расстанется. Она принесет счастье.

Гость налил еще огненной воды. У якута уже заплетался язык. Он покачивался, шурил раскосые глаза и твердил о том, как шли с неба соболи.

Потом он запел, глядя на огонь, он знал, что и в огне сидит добрый дух, который несет тепло и свет:

Я старый человек, сижу и курю свою трубку.
Ай-ай, хорошо.
В чуме светло и огонь греет меня.
Ай-ай, хорошо.
Добрый гость дал мне стекло,
и я вижу свою душу.
Я счастливый, потому что убил
белого соболя.

Долго пел якут, пока не свалился и не уснул.

Когда он открыл глаза, в дымовое отверстие в крыше чума пробивался свет и падали снежинки. Очаг потух.

У якута трещала голова, словно что-то распирало ее изнутри. Он сел и силился понять, где он и что с ним. На земляном полу валялись ленты, бусы, раздавленное волшебное стекло. Якут вспомнил, как швырял на колени гостю связки шкур.

Он испуганно оглянулся: холодок прошел от горла к сердцу, и оно, вздрогнув, застучало громко и часто. Белого соболя на стене не было. Удивленный бог Никола на дощечке разводил руками.

Якут схватился за голову и сжал ее ладонями изо всех сил. У него затряслась борода и на щеку выкатилась слеза. Ему представилось, как краснолицый гость в огромном тулупе хохочет и мнет руками белого соболя. И тот скалится и рвется из цепких пальцев.

Вскочил старый якут и, откинув полог чума, убежал. Две пушистые серые лайки запрыгали вокруг, виляя хвостами.

От чума, свернув на реку, шел след оленьей упряжки.

Лес был белым и тихим. Пушистые снежинки осторожно опускались на непокрытую голову якута.

Якут побежал по следу упряжки. Он проваливался глубоко в снег, падал и снова поднимался. Сердце колотилось гулко и отчаянно, и этот стук отдавался в висках.

В чуме старого якута валялось на полу раздавленное круглое зеркальце, на него таращил глаза белобородый старик с иконы...

Вот так по таежным селениям и стойбищам — на лошадях, на оленьих упряжках, на собаках едет, мчится, шагает Нажива, врывается в избы и чумы, неся с собой горе и голод. Пихает она в свой бездонный мешок сотни, тысячи мягких шкурок и хрипит: «Мало, мало!»

Оскудели безбрежные русские леса соболем. Его преследуют и уничтожают без жалости, без раздумий. Почти исчез в забайкальских лесах самый дорогой баргузинский соболь, шкурка которого — темная и пышная — ценилась особо.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ СОБОЛЬ

Поселился Дикарь на склоне двугорбой горы. Здесь стоял лохматый кедрач. Он был настолько густ, что подгнившие великаны не могли упасть и умирали стоя, опершись обломанными сучьями на плечи соседей. Когда налетал ветер, они скрипели, словно жалуясь на старость.

Внизу под густой хвоей было сыро и сумрачно даже в солнечный день. Сквозь обомшелые трухлявые колодины пробивалась молодая поросль. Деревца были чахлыми и уродливыми — им не хватало света.

Дикарю понравились эти дебри. Выше в гору кедрач редел, на пустырях выпирали из земли тяжелыми лбами каменные глыбы, потрескавшиеся, заросшие ржавой

травой и мхом. И в густых зарослях, и в расщелинах скал соболь всегда мог укрыться от любого недруга.

В ельнике у оврага держались пугливые рябчики, дальше, где начинался молодой березняк, хоронились глухаринные выводки. Не было недостатка и в белке. К зиме нальется душистым соком смородина, вспыхнут ярким румянцем рябины и свесят тяжелые гроздья, потемнеют орехи в кедровых шишках. Чем не житье соболу!

Однако Дикарь чувствовал беспокойство. Он без труда мог добыть себе пищу и был сыт. Но какая-то непонятная сила гнала его из гнезда, и он рыскал по тайге ночи и дни. Стал он раздражителен и зол. Иногда уходил от своей горы на полсотни верст. Он не знал, что ищет, зачем с отчаянным упрямством мечется по тайге.

Над тайгой плыл июль. Ласковый июль с долгими и грустными закатами, светлыми звездными ночами и седыми росами перед зарей. Лес был настоен густым ароматом хвои, буйного разнотравья и цветов.

Июль — месяц соболиных свадеб. Томимый неясной тоской одиночества, Дикарь искал себе подругу.

Однажды дрогнули его чуткие ноздри, и он замер, охваченный неясным трепетом. Он чуял след соболюшки.

Тайга дремала, облитая холодноватым светом луны.

Дикарь, невидимый и неслышный, бежал по следу соболюшки. Он то исчезал во мраке под тяжелым хвойным навесом, то мелькал в лунном островке, и темная шкурка его вспыхивала серебром.

Рядом со следом соболюшки возник другой след, след чужого соболя. Дикарь заурчал, зло скребнув по траве лапами. Глухая ярость закипела в нем.

Дикарь настиг их на узкой поляне над оврагом. Соболюшки не было видно, а чужой соболь носился вверх и вниз по стволу ели. Он был меньше Дикаря, у него был светлый бурый мех с темной полоской на спине.

Дикарь заурчал. Соперник замер, припав к земле.

Две юркие тени метнулись навстречу друг другу и свились в клубок. Дикарь смаху опрокинул соперника, рвал, кусал, царапал. Тот впился ему в заднюю лапу. Дикарь взвыл от боли и злости. Он дергался, волочил соперника по земле, но тот не разжимал пасти. Дикарь, извернувшись, укусил его в нос. Тот фыркнул и отскочил. Урча, попятился и вдруг исчез в траве.

Дикарь не стал его преследовать, не стал и зализывать раны. Он побежал к соболюшке, притаившейся в зарослях. Боль в задней лапе не давала ступить на нее.

Соболюшка была маленькой и озорной. Она весело скакала перед Дикарем и вдруг, прыгнув через него, скрылась в густых лапах ели.

Это была их свадьба. Свадьба без пира и гостей, один на один, но свадьба веселая, живая, с бесконечными играми в прятки и состязаниями в ловкости.

Переполненный неведомым чувством, Дикарь гонялся за маленькой светлой соболюшкой. Среди буйных таежных цветов и трав они то скакали, затевая веселую игру, то неторопливо шли рядом.

Так и остался Дикарь жить в кедраче на склоне горы.

Шла зима. Первая метель заметалась в тайге. Белые вихри крутились в зеленой хвое. Ветер, прорываясь снизу, бросался под широкие платья кедров, шумел и сыпал снег на хрупкую, тронутую морозом землю.

Шубка Дикаря стала густой и пушистой. Она осталась такой же темно-бурой, почти черной, как и летом. Единственные соболи — баргузинские не светлеют зимой, потому и ценна особо их зимняя шкурка. На брюшке Дикаря мех был буро-желтоватым, а на груди красовалось яркое оранжевое пятнышко.

Дикарь отвык от опасности. Ему было весело. Он не умел играть сам с собою, и игрой становилась для него

охота. Он нарочно очень долго подкрадывался к задремавшему рябчику, спугнув белку, отчаянно гнался за ней. Впрочем, белок преследовал он не долго. Соболь не любил скакать по деревьям, как это делают куницы. Он предпочитал держаться внизу, под завесой хвои.

Белым-бела зимняя тайга. Белы кедры, запеленутые снегом, белы камни, укрытые тяжелой шубой. Тишина. Звонкая лесная тишина. Лишь изредка скрипнет сушина, да снежный ком сорвется с ветки и запорошит осторожный беличий след.

Пойдет пурга, сметет следы и тропы, и на свежей пороше выткнутся новые рассказы о таежных приключениях.

По следу Дикаря шел человек. Он знал все, что делал сегодня соболь, где был. Некрупный, с большой пятаяк двойной след зверька рассказывал ему об этом. Соболь ходит «чисто», ставя задние лапки точно в след передних. Это называется «ходить в коготь».

С рассветом спустился Дикарь из беличьего гнезда, послушал, встряхнулся. Неторопливо отправился вниз по склону: там больше дичи и ягод.

Чуткое ухо Дикаря уловило какой-то шорох. Он широкими скачками помчался на звук и наткнулся на свежий след горностая.

Дикарь нагнал его у оврага. Белый, юркий, с черной кисточкой на конце хвоста горностай, почуяв соболя, завилял меж упавших стволов и исчез под елью. Под хвойными лапами, придавленными снегом, был сложный лабиринт ходов, и горностай уходил по ним.

Дикарь вскоре потерял горностая, выбрался из-под снега и вдруг почуял человека, а еще ближе—его собаку.

Человек бьет молнией. Но соболь может скрыться от него за тяжелой завесой хвои. Человек ставит ловушки и капканы. У соболя есть острое чутье, чтобы разгадать

опасность. Человек видит след, но соболь хитер и умеет путать следы.

Дикарь пустился бежать в гору. Вспрыгнул на ветку, снежный ком дрогнул и рухнул. Соболь взбирался все выше и выше по кромке веток. На пухлом снегу были ясно видны отпечатки его лап. Дикарь хитрил. Добравшись до вершины, он осторожно спустился обратно вдоль ствола и спрыгнул точно в свой старый след. И пошел по следу осторожно, боясь неверно ступить. Потом метнулся под упавшее дерево, зарылся в снег и прополз так метров двадцать. Потом забрался на кедр и замер.

Серая лайка мчалась по следу. У того самого кедра, где соболь запутал след, она заметалась, взвизгивая. Лайка была умна. Она поняла, что соболя нет на дереве. Пошла обратно, остановилась, вернулась к кедру.

Дикарь спустился на нижний сук и наблюдал за собакой. Где-то сзади пробирался сквозь чащобу человек. Увлеченный наблюдением за лайкой, соболь не заметил, как человек подошел вплотную.

Человек снял шапку, стряхнул с нее снег, снова надел. Он был в коротком полушубке, за спиной висела сумка, за плечом — ружье.

Человек поднял голову, глаза его расширились. Он увидел на суку соболя, черного серебристого соболя, какого не видывал никогда.

Дикарь скользнул в хвою. Человек вскинул ружье.

Соболь изо всех сил оттолкнулся лапами, свернувшись в клубок, пролетел к соседнему кедру и исчез в ветвях. Сзади щелкнул курок, но выстрела не было.

Человек застонал. Он бросил ружье в снег и начал топтать его.

Теперь собою было не до хитростей. Он бежал что есть мочи дальше и дальше в гору. Собака шла по его следу. Снег был крепок, и она почти настигала зверька.

А где-то сзади спешил охотник. Он бросил сумку, бросил полушубок, от мокрой рубашки шел пар. Соболь был почти в его руках.

Дикарь мчался двухметровыми прыжками.

Соболь вспрыгнул на толстую сушину и юркнул в дупло. Собака, подняв отчаянный лай, скакала вокруг.

Сушина была пустотелой внутри до самого корня. Дикарь неудобно свернулся, зацепившись за выступ.

Зверек чуял: будет пурга. Скоро, совсем скоро упадет она на тайгу. Он ждал ее, как спасения.

Человек подошел к сушине, заткнул шапкой отверстие дупла. Постучал по сушине — дерево гулко отозвалось. Дикарь замер в напряжении.

Человек принялся рубить сушину. Она вздрагивала, гулко охала и гудела при каждом ударе. Гроном отдавался этот звук в ушах зверька. Он заметался в дупле, ища выхода.

Внизу появился просвет. Он увеличивался с каждым ударом. Человек спешил. Потянул ветерок, прошла колючая поземка. Прошумели и замерли кедры.

Человек спешил. Торопливей стали удары.

Дерево дрогнуло, накренилось. В тот же миг Дикарь выскользнул из него. Над ним щелкнули собачьи зубы, но он увернулся.

Человек схватил ружье. Налетевший вихрь взметнул перед ним снежную тучу.

Пурга налетела сразу. Затрещала, загудела, завывала тайга.

Закружили вихри черного соболя.

Бредет человек, наваливаясь грудью на ветер, хлещет его по лицу колючим снегом, пронзает тело ледяными иглами. Борода у человека белая, на груди налип снежный панцирь.

Слизала пурга старый след. Куда идти, где он бросил сумку и полушубок? Без них — смерть. Прислонился он, обессилив, к стволу кедра. Ломит тело от холода. Скачет перед человеком белый пес, лает, зовет вперед. Он зло кусает хозяина за руки, тянет за штанину.

Человек, отвалившись от кедра, снова бредет, наваливаясь грудью на ветер.

А Дикарь, укрывшись в хвое, смотрит, как машут кедры широкими лапами, как вьется меж ними белый свирепый зверь — пурга, ничего не видно вокруг за снежными вихрями.

О ЧЕМ ШЕПТАЛИ ЗВЕЗДЫ

Жил Костя в глухой таежной деревушке на берегу Вишеры. Хлеб здесь родился плохо, и мужики зимой охотничали, летом ловили в реке тяжелых тайменей и нежных хариусов. Сбывали добычу в Чердынъ купцу Алину.

Втайне промышлял Алин золотишком, а попутно торговал мехами и дичью. По зимним дорогам шли его обозы на Пермь, на Москву. Не то что в столичных ресторанах — к царскому столу подавались алинские рябчики.

Алин снабжал охотников мукой и припасами. И не заметили люди, как опутал он долгами и кабальными обязательствами, прибрал к рукам все северные деревни.

Года три назад навалился на деревеньку голод. Лето было сухое и жаркое. Горели леса. Не родилась в тот год и ягода. Рябины к осени потемнели, листья их не пылали румянцем, а были темно-красными и жесткими.

Густыми гроздьями свисали шишки на елях. Они за-

плыли смолой и не годились на пищу птице. Не стало птицы, зверь тоже ушел из тайги.

И тогда-то особенно щедр стал чердынский купец. Он прикидывался жалостливым и подкармливал деревню. И в таких долгах числились у него мужики, что не знали, как вылезти из этой кабалы. Почти задаром забирал у них купец всю зимнюю добычу. А семье кормиться надо, и шли к Алину на поклон.

И вдруг одному из них — Бедуну — помаячило счастье. Вспыхнула надежда выбраться из алинской паутины. Шкурка черного соболя с лихвой покрывала бы все его долги. Но счастье мелькнуло и скрылось.

Еле дополз он до деревни и лежал теперь на печи, укрытый тулупом, дышал прерывисто, мерз.

Костя вбежал в тесную избу, перевел дух. На лавке у стены сидели мужики, расстегнув полушубки. Посередь избы возились, что-то выстругивая, босые ребятишки.

— Ни разу не было промашки, и тут вдруг — на тебе! — прерывисто, с хрипотой говорил Бедун.

— Где, где ты видел черного соболя?

Бедун посмотрел на Костю мутными воспаленными глазами:

— Зачем тебе?

— Мой он, — улыбнулся Костя.

Бедун потемнел, отвернулся.

— Твой? Да ну? — с издевкой спросил он. — Жаден ты, однако.

Костя оторопело заморгал, раскрыл рот. Охотники, потупившись, молчали.

— Честное слово, мой, — торопливо договорил он. — Я вез его из Забайкалья, а он сбежал дорогой.

Он чувствовал, что говорит не то, что ему не верят. С ужасом вспомнил, что никому не рассказывал о Дикаре. Скрывал нарочно, чтобы уберечь от пули.

— Вот что, — поднялся с лавки старик-сосед. У него была широкая, во всю грудь, борода и лохматые колючие брови. Он положил на стол шапку, примял ее тяжелой ладонью. — Почитали мы тебя, Константин Максимыч, хлебом-солью встречали. Детишек наших ты грамоте учил, о правде нашей мужицкой рассказывал. В ссылку из-за нее пошел — не побоялся. Думали — вот человек. Большак, одним словом. А на поверку вышло — душа-то у тебя купецкая, жадненькая. Из-за соболька голову потерял. Твой, говоришь? Ничейный он, вольный. Но коли первому Бедуну повстречался, никто его охотничать не вправе. Такой закон наш неписаный — таежный закон.

У Кости горели уши. Он не смел поднять глаза. Обида и стыд сдавили горло. Он медленно повернулся и пошел к двери.

Хозяин Кости, у которого он жил, маленький плешистый старичок, запричитал, слушая Костю:

— Ой, дурень, ой, дурень. Натворил делов. Таежники — народ упрямый. Уж коли втемяшится что в башку — ничем не выбьешь. Теперь тебе и «здрасте» не скажут. Сиди дома и пузыри пускай.

Бедуну становилось все хуже и хуже.

— Кабы не скончался Бедун-то, — вздыхал Костин хозяин.

— Доктор нужен, — горячился Костя. — Срочно нужен доктор!

Старик усмехался.

— Доктор. Ему деньги плати. А где Бедун добудет? В избе — хоть шаром покати.

— Слышь-ка, — поведал Косте хозяин в другой раз. — Сам купец Алин к Бедуну прикатывал. Пытал про черного соболя. Но Бедун — молчок, будто не помнит. Алин рассвирепел, рожа, как свекла, налилась. Сказал,

что со свету мужика сживет. — Старик вздохнул. — Так-то, браток, пришла беда — отворяй ворота.

Долго не спал Костя в эту ночь. Сидел, обхватив голову, и, не мигая, глядел на огонек лампы. Потом рас-толкал хозяина, горячо зашептал:

— Ружье дашь?

— Что ты, мил человек. Неужто купца порешить за-мыслил? — испуганно закрестился старик.

— Дай ружье, — умолял его Костя, — дай, прошу.

С рассветом, закинув за плечи старую берданку, Кос-тя ушел из деревни. Лыжный след тянулся в тайгу. Деревенские хмуро переговаривались.

— За соболем ушел. Да за такие дела...

— А кто его знает, — разводил руками хозяин, — ушел, не сказавшись. Может, просто ветром дыхнуть...

...Снова почуял Дикарь человека. Он узнал его. Это был сероглазый, который вез его в клетке.

Дикарь прислушался. Сероглазый шел один, с ним не было злобной остроухой лайки. Соболь не побежал. Он затаился в ветвях ели и стал ждать.

Человек, тяжело поднимая лыжи, пробирался сквозь чащобу. Снег с елей сыпался ему на голову и плечи. Вот тяжелый ком угодил прямо на шею, человек наклонился, крутит головой и вытряхивает снег из-под воротника.

У сероглазого в руках ружье. Ближе подпустить его опасно. Дикарь, не торопясь, стал уходить в гору. Чело-век упрямо шел по следу.

Целый день водил его соболь, водил, не торопясь, вы-бирая места с буреломом и чащобой. Он сам устал и на-доело ему хитрить и путать следы. Он начал привыкать к человеку и подпускать его совсем близко. Он видел, что сероглазый еле волочит лыжи. Вот прислонился к ство-лу, жадно и тяжело дышит.

На горе зацепилось за ели красное холодное солнце.

Бледные лучи скользили по склону, подрумянив пышные горбы сугробов.

Человек устал и будет отдыхать. Он выроет яму в снегу и будет долго подпаливать сучья, пока не схватит их горячий прыгающий огонек. Человек наломает веток лихты, приляжет на них и будет смотреть на огонь.

Дикарь стал спускаться по склону. Из-под шапок сугробов кое-где выступали серые камни с расщелинами. Соболь заглянул в одну из расщелин. Туда была натаскана трава — мыши запасли ее на зиму. Дикарь юркнул внутрь. Здесь было так уютно, что не захотелось уходить. Соболь чувствовал, что идет мороз, а тут, в сухой траве, было тепло. Он свернулся калачиком.

Соболиный след привел Костю к расщелине. Он разгреб снег, потыкал внутрь палкой. Потом зажег траву — дым должен выкурить зверька. Но расщелина была глубока, и дым не достигал до соболя.

Костя знал разные способы охоты на соболя. Самым надежным и самым трудным сибиряки считали такой: затаиться и ждать, пока зверек не выглянет сам. Соболь любопытен и нетерпелив. Ему нужно обязательно знать, что делается снаружи.

Костя устроился под кедром напротив расщелины и стал ждать.

Снизу из-под горы поднималась ночь. Жгучим ледяным дыханием окутывала она тайгу. Чудилось, что стынут деревья в холодной дремоте, замирает дыхание леса. Луна, большая и яркая, висит над вершинами, голубым огнем искрятся сугробы. Чудится, не тайга кругом, а какое-то фантастическое царство холода и тишины. Кажется в этой режущей уши тишине, что звезды шелестят и шепчутся. А воздух так неподвижен, что если провести рукой — он зашелестит.

Шепотом звезд называли люди мертвое ночное безмолвие тайги.

Жутко одному в такие ночи. Кажется, все кругом погрузилось в мертвый ледяной сон. И тебя самого окутывает сладкая дремота. А звезды над горой шелестят и шепчут. О чем они шепчут? Не о том ли, что и ты останешься здесь навечно вот так сидеть под кедром, что застынет в теле горячая кровь?

Чиркнула по небу упавшая звезда. Костя мог поклясться, что слышал, как она вспыхнула и сгорела. Пощипывает пальцы на ногах, мороз пробирается под полушубок. Веки стали тяжелыми. Костя шевелил в валенке пальцами и заставлял себя думать об одном — о соболе. Он напряг всю свою волю, чтобы не задремать.

Перед глазамиплыли серебристые, голубые круги. Что это? Да это же звезды! Близкие, как большие зеленые искры. Они кружатся с тихим звоном. Стоит протянуть руку, и схватишь одну из них. Но не хочется поднимать руку. Хочется спать... спать...

ПРАВНУК

Костя вспоминал потом об этой ночи. Вспоминал, когда он, буденновский комиссар, лежал с перебитыми ногами в степном овраге, в нагоне остался последний патрон, а вокруг рыскали на тачанках белоказак. Вспоминал, когда басмачи загнали его отряд в пески, и он полз по барханам, а спекшееся горло разрывало от жара и жажды. И виделось ему тогда холодное сияние снега.

Он приехал на Вишеру через много лет, после второй войны, Отечественной, оставившей три осколка в плече

и голени. Приехал известным ученым-звероводом, седым стариком. На двух вертолетах перевез он сюда дорогих баргузинских соболей, чтоб расселить их по уральским предгорьям.

Он шел по тайге с Бедуном на широких охотничьих лыжах.

Было начало марта. Снег слежался, потемнел и отливал синевой, а протаявшие сугробы у пней напоминали сверкающую взбитую пену. Воздух был так прозрачен, и такой звонкой была тишина, что казалось — вот-вот разорвется. Пахло арбузами. Да, да, Константин Максимович мог поклясться, что запах весны похож на запах свежеразломленного арбуза.

В молодом березняке, окутанном розовой дымкой, тонко пересвистывались рябчики.

Бедун, чем-то встревоженный, вглядывался в следы на снегу и вдруг быстро заскользил по склону, сорвав с плеча ружье.

Константин Максимович заспешил за ним, но остановился перевести дух — изработалось сердечко.

Он сел на пенек, слушая тишину. Подумал о городских квартирах, о вечно занятых людях, которые обкрадывают себя, не зная пленительной прелести этого лесного утра, не ощущая на лице прикосновения ветерка, пахнущего снегом и молодым березовым соком.

Он думал о великой щедрости природы. Все дала человеку земля. Все. А человек? И сейчас он сводит на нет леса, отравляет реки отходами заводов, а воздух — смертоносным стронцием. Самые жестокие сыновья не поступят так со своей матерью, как обходятся иногда люди с землей, давшей им жизнь.

Прежде ему казалось, что достаточно свернуть хребет власти Наживы и все станет по-другому. Но рево-

люция была только началом. Вот когда каждый человек ощутит всеми клетками своими кровную связь с природой, только тогда он почувствует себя по-настоящему свободным и сильным.

В стороне за ельником хлопнул выстрел и Константин Максимович поспешил туда.

Бедун слезал с сухой березы, придерживая что-то за пазухой. Внизу распласталась на снегу желто-бурая рысь. Толстые длинные лапы поджаты, словно перед прыжком, кровавая пасть застыла в оскале.

Снег вокруг был истоптан, в пятнах крови и клочьях темного меха.

Бедун молча отвернул на груди полушубок: там возился большеголовый соболенок.

— Припоздал малость, — зло сказал Бедун. Он кивнул на рысь. — Не убереглась соболюшка, и детеныш вот последний... Так у дупла и сшиб злодейку.

Бедун стал совсем стариком — сморщились щеки, борода стала седой и редкой, подпаленные махоркой усы были рыжими. Но в плечах Бедун был так же широк и походкой напоминал медведя. Напросился он быть егерем в новом соболином заповеднике. Клялся Константину Максимовичу, что тайга для него — что собственный двор, а по силам он еще и молодым нос утрет.

Константин Максимович взял у Бедуна соболенка, положил на ладонь. Тот пытался ползти и тыкался носом меж пальцев.

— Твоего правнук, — сказал Бедун.

— Ты думаешь?

— Не думаю, а знаю. Давно эту соболюшку приметил. Хромоножка она была. Мехом куда темнее наших. Откуда же ей такую шубку взять, как не от забайкальского прадеда.

— Погибнет, — добавил он, кивнув на соболенка.

— Попробуем спасти, — хмуро ответил Константин Максимович. — Надо спасти. Можно выкормить соской. Или... — он вдруг оживился, — не знаешь, у кого есть кошка с котятами, с маленькими?

Бедун пожал плечами.

— В деревне спросить надо.

Путь их лежал по тем же местам, где когда-то они бродили за Дикарем. Склон горы густо зарос молодым пихтовником.

— Может быть, это смешно, но я всю жизнь чувствовал какую-то вину перед тем собольком. Как будто бы он и мою жизнь определил.

Константин Максимович отчетливо вспомнил ту холодную голубую ночь, когда он чуть не остался здесь навсегда.

Он замерзал. Над головой мерцали низкие холодные звезды. Веки слипались, и не было сил открыть их.

Соболек выглянул из норки и смотрел на неподвижного человека. Отскочил в сторону и снова замер.

Спать, спать, спать. Пусть качаются звезды, пусть сыплется шуршащий редкий снег. «Замерзаю, — равнодушно подумал Костя. — Ну и пусть...» И в следующее мгновение он вдруг похолодел от этой мысли. Резко открыл глаза. Пошевелил пальцами ног — целы. Стянул варежки, начал дуть на заостеневшие пальцы.

В освещенной луной расщелине качнулась тень. На мгновение у Кости какая-то горячая волна прокатилась от горла к сердцу. Он вспомнил про соболя. Рывком поднял с колен берданку. Тень шевельнулась. Костя нажал курок. Блеснул огонь — и лопнула шуршащая тишина. Тень метнулась от расщелины и упала в снег.

Костя хотел встать и не смог — заочеченевшие ноги плохо сгибались в коленях. С трудом он поднялся и, проваливаясь, побрел вперед.

На снегу лежал Дикарь. Голубыми искрами серебрился пушистый черный мех.

Костя гладил его, прижимал к груди. Сверху смотрели тихие звезды и о чем-то шептались.

Только на другую ночь вернулся Костя в деревню. Он зашел прямо в избу Бедуна. Все спали. Костя ощупью пробрался к печке и положил в изголовье Бедуна мягкую соболиную шкурку.

С рассветом Костя ушел из деревни. Он бежал из ссылки.

...В окно тетки Евдохи постучали. Она выглянула. На улице стоял Бедун и «начальник из экспедиции». Тетка Евдоха торопливо вымыла руки, начала рыться в сундуке. Появилась она перед гостями в шелковом черном с цветами платке, в новеньких красных домашних туфлях. Маленькая, полная, держалась она степенно, как на гулянье.

— Тетка Евдоха, говорят, у тебя Мурка окотилась?

— А ты не ори, — оборвала Бедуна тетка Евдоха.

— Да я не ору. Мурка твоя...

— Ну вот и не ори. Не глухая, — спокойно продолжала она. И повернулась к Константину Максимовичу. — По какой надобности ко мне, начальник? Заходи в избу, поговорим.

С превеликим трудом удалось Константину Максимовичу втолковать тетке Евдохе, для чего нужна ее кошка.

— Ты хочешь моей кошке этакую образину подложить! — возмущенно всплеснула руками тетка Евдоха. — Сожрет ее Мурка. Как есть сожрет. — Она погладила со-

боленка и неожиданно ласково произнесла: — Сиротинка ты, сиротинка. — Вздохнула. — Ну, ежели с научной целью — подкладывай.

Гнездо кошки Мурки было устроено за печкой. Три слепых полосатых котенка спали, уткнувшись в материнское брюхо. Мурке поднесли соболенка. Кошка настороженно приняхивалась, глаза ее загорелись, короткий хвостик нервно подергивался. Она чуть не схватила соболенка, Константин Максимович вовремя отдернул руки.

— Теплой воды нужно.

— И с водой одинаково сожрет, — махнула рукой тетка Евдоха. Но долила в ведро горячей воды из чугуна, потрогала воду ладошкой и поставила посередь избы.

Константин Максимович достал котенка из-за печки, окунул его в воду, стал мыть. Котенок открывал красный ротик и тонко пищал. Мурка металась от него к гнезду и призывно мяукала.

— Виданное ли дело — котенка, как дитя, водой крестить! — возмутилась тетка Евдоха.

Решительно отставила ведро, отобрала котенка. И стала осторожно купать его сама. Константин Максимович переглянулся с Бедуном, улыбнулся.

Когда все три котенка были вымыты и Мурка, мурлыкая, вылизывала их в гнезде, в той же воде искупали соболенка. Константин Максимович осторожно положил его к котяткам. Тот неловко втискивался между ними. Мурка недоверчиво обнюхивала подкидыша. Теперь от него пахло котенком. Тетка Евдоха склонилась над ней.

— Ну, лизни его, сынок он твой. Ну, лизни, — упрашивала она.

Соболенок, растолкав котят, принялся сосать приемную мать, а Мурка вдруг, мурлыча, так же старательно стала вылизывать его мокрую бурую шерсть.

— Другая бы, конечно, не приняла. А моя Мурка по всем статьям науки подходит, — гордо заключила тетка.

Она потчевала гостей чайком с душистым смородиновым вареньем, вела степенную беседу с Константином Максимовичем о том, как ухаживать за соболеньком. На Бедуна она не обращала внимания, только и сказала:

— Угощайся и не мешай нам с умным человеком разговаривать.

„ВСЕМ ПРОДАМ ПРОД“

Время шло. Соболенок вырос, окреп. Он оделся в короткую летнюю шубку с ярким оранжевым пятном на груди. У него была острая смышленная мордочка с черным подвижным носиком. Округлые ушки вечно насто-роже, в глазах — дерзость и любопытство.

Тетка Евдоха раз в месяц отправляла Константину Максимовичу короткие письма: «Поклон от Дикаренка. Живет он как полагается, по-научному. Спокойный зверь. Узнай в Москве, не продают ли намордники для соболей. А то у петуха моего полхвоста выгрыз. И никакой на него управы».

Константин Максимович хохотал, получая такие письма. Однажды посоветовал тетке Евдохе попробовать приучать соболя к клетке, но в ответ получил такое гневное послание, что больше не рисковал давать подобные со-веты.

Соболенок был юрким и озорным. Настроение его менялось с поразительной быстротой. Он мог, сидя на плече у тетки Евдохи, ласково тереться о ее щеку и вдруг укусить ее за ухо. Тетка Евдоха хваталась за полотенце,

а зверек уже качался на створке окна и глядел, как копошатся синички на рябине. Веселое житье у Дикаренка.

Изба тетки Евдохи стоит на взгорье на краю деревни. За огородом начинается редкий осинник, а за ним — крутой обрыв к речке Змеинке, прычущейся в ивняке.

Дикаренко рыскает по деревне, дразнит собак, дерется с кошками. Ночью забирается в чей-нибудь погреб — полакомиться сметанкой и поворошить мясные и рыбные запасы. А то для забавы проникнет в курятник и там поднимет такой переполох, что всю деревню разбудит. Хозяева прямо с постели, в нижнем белье, прибегут в курятник — кто с вилами, кто с ружьем. Торопливо чиркают спичками, а соболька и след простыл.

Потом в деревне долго гадают: от чего бы всполошиться курам? Не иначе — лиса побывала. Но почему тогда все куры целы? Ломают головы деревенские и над пропажами в погребах. Вина падает на кошек, им по очереди достается за чужие провинности.

На соболька никто не подумает: приди с утра к тетке Евдохе — он преспокойно спит, свернувшись на печи с котятами и бесхвостой кошкой Муркой.

Впрочем, однажды Дикаренко чуть не навлек на себя серьезные подозрения. Он забрался в соседский чулан и ворошил старые кожи. И понадобилось же хозяйке ночью пойти в чулан. Соболь затаился, когда открылась дверь. Желтый трепещущий огонек свечи бросил свет на пыльные стены, сундуки, ворох кож. Хозяйка наклонилась и стала перебирать кожи. Дикарь метнулся через нее, хозяйка с визгом опрокинулась в угол.

Потом она клялась, что на нее прыгнул черт. Да, да, она даже видела у него кривые рожки и копыта.

Но большинство деревенских начали догадываться,

что этот «черт» живет у тетки Евдохи. Недаром у тетки Евдохи «вся живность с причудом».

Есть у нее собака — белый косолапый Топ с черным неровным пятном вокруг левого глаза. Топ — отчаянный скандалист. Вечно лезет в драку с соседскими лайками, и уже через минуту с неистовым визгом мчится к дому, спасаясь от разозленных псов. А тетка Евдоха, слышав его вопли, спешит выручить незадачливого любимца.

— Ироды окаянные! — ругается она на собак, разгоняя их пинками. — Управы на вас нету!

И, подхватив Топу на руки, несет домой. Долго и заботливо лечит его прокушенное ухо или ободранный нос.

Другая живность у тетки Евдохи — рыжий кривой петух, злющий, как цепной пес. Мальчишкам от него проходу нет. Да и сама тетка выходит во двор не иначе как с полотенцем. Клюется петух больно, с защипом.

Прежде чем накормить кур, тетка Евдоха выдерживает бой с петухом. Только распахнет она дверь, а тот уже, нахохлившись, летит к ней со всех ног. Тетка ждет с полотенцем. Петух подсакивает боком, смотрит на тетку снизу вверх здоровым глазом, по-смешному наклонив голову. Налетит, тетка — хлоп его полотенцем. Встряхнется рыжий драчун, заворчит. И опять боком-боком подсакивает к тетке Евдохе.

— Подойди, подойди, ирод, — грозно наступают она. Загонит петуха в угол, набросит полотенце ему на голову и спутает им строптивую птицу. Возьмет в охапку и идет рассыпать овес курам. А петух сопит и мотает запеленутой головой. И только когда овес насыпан в длинное корытце и все десять кур копошатся около него, тетка Евдоха отпускает пленника на свободу. Петух, издав победный клич, снова норовит налететь на хозяйку.

— Извел он меня, — жалуется тетка Евдоха соседкам. — Вконец извел. Вон — все руки исклеваны.

— Так заруби его, — советуют ей.

— Как так — заруби? — возмутится вдруг тетка Евдоха. — Он, поди, курам защитник, должность свою справляет. Не то что ваши заморыши! — Она смотрит на собеседника так, словно он предлагает ей совершить преступление.

С утра до вечера воюет тетка Евдоха со своей живностью. Но больше всего хлопот от соболенка. Он — «всем иродам ирод».

Однажды тетка Евдоха резала на столе мясо. Дикаренок дремал на спине Топа в углу на кухне. Топ подергал ухом и, вскочив, начал остервенело чесаться. Сброшенный соболенок в обиде укусил его за нос. Топ взвизгнул и поднял отчаянный лай. А зверек прыгнул на шкаф и урчал. В шкафу звенела посуда.

Тетка Евдоха огрела Топа полотенцем и вдруг всплеснула руками: соболев тащил к окну огромный кусок мяса килограмма в три весом.

— Стой, стой! — заголосила она.

Бросилась к окну, столкнула цветок и кринку с молоком. Кринка упала в крапиву и лопнула.

Дикарь забрался на чердак.

Тетка Евдоха, кряхтя, поспешно лезла на чердак.

Соболев сидел у трубы и с хрустом грыз мясо.

Тетка Евдоха даже глаза зажмурила от ужаса — мясо стало черным от налипшей пыли.

— Ах ты, ворюга! Я тебе!

Она осторожно пошла на соболя.

— Дикарек, Дикарек, ну иди сюда. — Она уже была совсем рядом со зверьком. Соболев ел мясо, глаза его поблескивали в полумраке.

Осталось только протянуть руку и схватить зверька. Тетка Евдоха медленно тянулась к нему. Соболенок от-

прыгнул в сторону, тетка Евдоха больно ударилась лбом о стропила. На голову ей посыпалась пыль.

Соболя уже не было на чердаке. Он пробежал по крыше на ворота, потом на крышу сарая.

Внизу заливался Топ. К нему присоединились еще две собаки. Дикаренко спокойно перебрался на рябину и устроился на толстом суку.

Начали собираться деревенские. Хохотали, переговаривались, указывали на соболя. Прибежала и тетка Евдоха. В отчаянии она запустила в Дикаренка палкой.

— Три кило, почитай, упер, ирод!

И тетка Евдоха решительно направилась к избе Бедуна.

— Забирай куда хошь своего зверюгу, — заявила она Бедуну. — Извел, как есть всю извел.

Бедун поскреб затылок.

— Оно бы можно и в лес снести. В заповедник.

— То есть как в заповедник? — не поняла тетка Евдоха. И вдруг вскипела. — Это соболька в заповедник? Твой он, что ли? Ишь как распоряжается чужим владением!

— Сама же говоришь... Житья нет, мясо украл...

— Мало ли что говорю? — тараторила тетка Евдоха. — На то он и зверь, чтобы мясо есть. И не отдам я его для твоих заповедников. Заведи своего, а потом заповедничай.

Тетка Евдоха гордо прошла мимо собравшихся у рябины женщин и мальчишек, распинала собак, своего Топу подхватила на руки и скрылась за воротами.

Вечером она написала Константину Максимовичу письмо: «Сходи в правительство и скажи, чтобы Бедуну такое указание дали не приставать ко мне. Дикаренко я не отдам ни для каких заповедников».

Отшумели майские грозы, черемухи стряхнули в тра-

ву белоснежный цвет, на заливных лугах тесно, словно в одну ночь поднялись длинноногие желтые купавки.

А ночей почти не было. Приходили недолгие сумерки, заря, не успев угаснуть, снова разгоралась.

Дикаренко чувствовал какое-то беспокойство. Стал он зол и раздражителен, забавы его были уже не такими невинными. Однажды он загрыз соседскую курицу. Тетка Евдоха долго потом доказывала, что курица сама на него наскочила и нечего на зверька возводить напраслину.

Дикаренко укусил тетку за палец и убежал в лес.

Лес начинался прямо за речкой. На угоре в него клиньями врезались поля в бархатной хлебной зелени, дальше шли покосы, а еще дальше — чащоба.

Дикаренко ловил в полях жаворонков, караулил мышей под старой березой. Он уходил все дальше и дальше, иногда подолгу не появляясь в деревне.

Обеспокоенная тетка Евдоха отписала Константину Максимовичу: «Дикаренко скучает. Вели прислать ему товарища. Я и двоих держать согласна».

Соболенок в это время был далеко от деревни.

Были теплые сумерки. Тысячи запахов, резких и еле слышимых, знакомых и чужих, заполняли воздух.

Соболенок шел осторожно, обонянием и слухом читал книгу жизни леса. В овраге он натолкнулся на волчье логово. Наблюдал, затаившись, как возятся перед норой большеголовые щенки.

В еловой заросли он гонялся за рыжей белкой и упустил ее. Раздраженно фыркнув, начал точить когти о кору ели.

Инстинкт говорил соболю — в тайге нужно быть осторожным. Он шел, затаиваясь при каждом шорохе.

По старой поваленной лиственнице соболь перебежал через овраг. И замер. На лиственнице мелькнула тень.

Кто-то очень знакомый и в то же время чужой бежал по его следу. Дикарь почуял соболя.

Чужой соболь остановился на вывороченной корявой лиственнице и заурчал. Дикаренко осторожно и доверчиво двинулся навстречу. Чужой сжался, оскалился. Дикаренко постоял в недоумении, ласково мяукнул. Это совсем озадачило чужого. Дикаренко снова двинулся, чужой попятился. Дикаренко вытянул шею, чтобы понюхать лесного брата, но тут получил жестокий удар по морде.

Чужой, урча и оглядываясь, побежал по стволу назад. Дикаренко долго смотрел ему вслед и жалобно нетерпеливо повизгивал.

Зацыкали дрозды — первые вестники утра.

Соболек забрался в ельник и уснул, зарывшись в мягкий горьковатый мох. Он сердито урчал во сне. В новом таежном мире ему было тревожно и одиноко.

Прошла неделя, другая. Тетка Евдоха совсем лишилась покоя. Она бродила по лесу и звала Дикаренка. Но соболек не приходил. Тетка Евдоха окончательно разругалась с Бедуном.

— Ты сманил его в свой заповедник! — кричала она.

С ней нельзя было спорить, с этой голосистой упрямой старухой. Бедун махнул рукой и ушел в тайгу искать соболя.

Он нашел его. Нашел, когда землю уже покрыл снег.

Тетка Евдоха, надев охотничьи лыжи, пошла с Бедуном в тайгу. Тот привел ее к развилке оврагов, показал крупный двойной след.

— Вот он, твой соболек, недавно прошел.

— Дикаренко! Дика-а-арь! — звала тетка Евдоха.

— А-арь! а-арь! — перекатывалось эхо.

Замирало эхо, и снова тишина окутывала тайгу. Ни звука, ни шороха.

СОДЕРЖАНИЕ	
МАТУШКА-РУСЬ	7
●	
ПОХОД НА ЮГРУ	105
●	
ДИКАРЬ	155

Алексей Михайлович ДОМНИН

● МАТУШКА-РУСЬ

Исторические повести

Редактор Н. Гашева. Художник В. Кадочников. Художественный редактор М. Данилов. Технический редактор Т. Дольская. Корректоры Г. Борсук, Е. Евсеева.

Сдано в набор 29/XI 1974 г. Подписано в печать 14/III 1975 г. Формат типогр. бум. № 3 70×108¹/₃₂. Бум. л. 3,0; печ. л. 6,0; усл. печ. л. 8,40; уч. изд. л. 7,783. ЛБ19063. Тираж 50000 экз. Цена 33 коп. Темплан 1975 г. Изд. № 46. Зак. 1230. Пермское книжное издательство, 614000, Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

Д 66 Домнин А. М.

Матушка-Русь. Исторические повести. Пермь. Кн. изд-во, 1975 г.
191 с.

В книгу вошли три повести, как три небольшие страницы из истории Родины, рассказывающие о разных временах и событиях.

Р2

Д $\frac{0732 - 26}{M152 (03) - 75}$ 46—75

33 коп.

